

Артур Аршакуни
Мой Эдем

Стихи и проза последних лет



Артур Аршакуни
**Мой Эдем. Стихи
и проза последних лет**

«Издательские решения»

Аршакуни А.

Мой Эдем. Стихи и проза последних лет / А. Аршакуни —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966286-6

Отец Никифор огляделся. В голове звенел благовест.— Гармонь бы мне, — застенчиво улыбнулся он. Юрий Тойвович уже не мог смеяться. Он полулежал на своем стуле, вздрагивая в пароксизмах.— Ну, дайте ему гармонь, что ли... — задыхался он. Сбегали к прислуге, принесли — не гармонь, но баян. Отец Никифор растянул мехи и сноровисто заиграл «Гоп-стоп, Зоя». Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-966286-6

© Аршакуни А.
© Издательские решения

Содержание

Delirium Cordi	7
2016	7
Скрипка	7
Окно троллейбуса на Невском	8
2017	9
Морошка	9
Мой Эдем	10
Исповедь	10
Анне	11
Камень	11
Апрель	12
Картошка	12
Первое погожее летнее утро	13
Танк на прогулке	14
Февраль	15
Последний дождь осени	15
Над рекой	15
Почти донос	16
На смерть двух слив	17
Предзимье	18
Татарник	19
Старуха	20
2018	22
Гадалка	22
Запоздалое	22
Кузнечик	23
Раскаяние	23
Брошенные женщины	24
Зимнее утро	25
Ангел и черт	25
Язычник	26
Эпоха	27
Воробей и голубь	27
Декабрь	27
Скрипач	28
Чарли, ирландский терьер	30
Щенок	31
Деревья	31
Снегопад	32
После снегопада	32
Снег	33
Март и еще 11 месяцев	33
Если бы	34
Качели	36
Танк на прогулке	37
Алюминий, железо и свинец	39

2019	44
Мгновение	44
Delirium Cordi I	44
Неспетые песни	45
Слобода	47
Про Нюшку и про смерть	47
Лазерный уровень	68
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Мой Эдем

Стихи и проза последних лет

Артур Аршакуни

© Артур Аршакуни, 2019

ISBN 978-5-4496-6286-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Delirium Cordi *Стихи до и после*

2016

Скрипка

Скрипка чужда уху славянина,
Снадобье для женщин и подростков..
Что для итальянца виолина,
То для нас скрипучая повозка.

В музыке слеза со смехом спорят.
Не поймешь – услада иль утрата.
Правды нет до самого до моря,
А за морем – то не наша правда.

Не к лицу мужчине слезы, ласки,
А к лицу мужчине жить войною.
Плащ-палатку скрипке бы да каску
Да покрыть бы листовой бронейю.

Деревяшка, жилки, конский волос —
Их куда в походе надевать-то?
Нужен зычный командирский голос,
Выправка и вид молодцеватый.

Скрипачу и тягостно, и душно,
А не уследить – проныра ловкий.
Эх, придать бы скрипке колотушку!
Только вот кому нужны обломки?

Но недаром в музыке
(как в слове)
Тайна – только не для нас, для сирых.
Скрипка и могла бы быть суровой,
Только это был бы Божий вывих.

Так медведя водят по базару.
На потеху всем.
А взгляд убийцы.
То, что скрипка сразу не сказала, —
И не скажет.
Только застрелиться.

Гнется в танце смуглая гитана,
Оплывают восковые свечи.
То не скрипка плачет, – эка тайна! —
Плачут наши души человечьи.

Звездочки сережек, парус платья
Получив за скучные гавоты,
К нам явилась с бессарабской свадьбой
И с полынно-горьким женским потом.

Жги, гуляй!
Лисой кружись карминной!
Да пляши, чтоб окоем стал тесен.
Чужда скрипка уху славянина?
Что ж он низко голову повесил?

Ноябрь

Окно троллейбуса на Невском

Рейсфедером по питерскому ватману —
Решетки, арки, львы, колонны, лица,
А с краю – словно пальцами захватано.
Здесь Демиург, видать, поторопился.

А он спешит смешать (затейник тот еще!)
Шалашик рая с пятизвездным адом,
Со свадьбой – тризну и с погостом – торжище,
Свободу – с сытостью, а истовость – с разворотом.

И топь угорскую слепить с туманом Лондона.
Все остальное умники пусть сами.
Уж сколько лет над нами кони Клодтовы
Ржут безъязыкими оскаленными ртами.

Остались позади атлеты, лошади,
И мысли, незаконченные в гневе.
Троллейбус повернул к Дворцовой площади.
Оконный ватман медленно тускнеет.

Пора на выход.
Вдруг перчаткой кожаной
Соседка (очень даже, между прочим)
Стирает Демиурга, ах ты, Боже мой!
Он лишь шутил и голову морочил.

Декабрь

2017

Морошка

Красных сосен шали,
Серый плед осин.
Северные дали,
Выцветшая синь.

Комары да мошка
Дым их не берет.
Ягода морошка
По губам течет.

Повяжи от ветра
Ситцевый платок.
Северная щедрость,
Полный туесок.

Песня в полкуплета,
Тихий голосок.
Северное лето,
Сосны да песок.

Красные сапожки,
Русая коса,
Северная кошка,
Шалые глаза...

Голуби-голубы
По небу летят.
Северные губы
Жгут и холодят.

Стоптаны сапожки.
Догорел костер.
Ягоду морошку
Помню до сих пор.

...Свет в осинах пляшет,
По болотам дым.
Плачем, потерявши
То, что не храним.

5 ноября.

Мой Эдем

Где пронизана светом лазурь после пестрого полога,
Где дорога лесная, устав, полной грудью вздохнет,
Где несут на плечах сосны солнца расплавленный колокол,
Где с деревьев стекает густой бальзаминовый мед,

Окружит травостой, как цыганка, играя монистами,
Там готовит упрямый кузнечик опять свой полет,
Неумелый летун, но в военной своей амуниции,
И, дразнясь, зависает над ним стрекозы вертолет.

Лишь у берега дальнего дрогнет ряска под рыбиной крупной.
И опять тишина.

Лист падет на траву, хрупок, светел и желт.
Только бабочка, крылья сложив, до заката пурпурного
Ждет как будто того, кто здесь был, но недавно ушел.

29 ноября.

Исповедь

Я уйду под большой, под сапфировый купол
Под временем траченные цвета парного мяса колонны,
Чтобы ветер не пел панихиду, чтобы дождь меня не оплакал,
И радостно, не в любви и не в страхе, преклоняю колени.

Я уйду в непогоду души под своды барочные сосен.
Я найду себе место в гигантском естественном храме,
Что с течением лет так же юн, так же щедр и та же прекрасен,
Как собор в день постройки в так называемом Риме.

Где молитва – рыданье вотще взалкавшего сердца.
Здесь не нужен псалтирь, бесполезен ваш тробник,
Как видения сладострастных дев не волнуют столетнего старца,
Чья перепонка настроена лишь на глас, лишь на трубный.

Как трепещет в ожидании кары отъявленный грешник,
Боясь до икоты обнаружить себя живым, но распятым,
Не ведая, что уже множество лет продолжается суд страшный,
И крючками давно его мозг извлекли через нос парасхиты.

Темнеет уже. Я иду.
Шагом усталым, как после парада.
Этот компас во мне.
Вместе с компасом мы идем, улыбаясь.

Родила меня мать.
Сотворил не отец, а сказала природа.
Я иду,
и передо мной, за горизонт уходя, дивный храм голубеет.

Ноябрь

Анне

Ранним утром осенним, студеным
Подойди к ледяному окошку.
Крепко спят обитатели дома,
Человеки, собаки и кошки.

И тихонько, с иронией прежней
Спой про то, что давно отзвучало,
Про безумное время свершений
И свержений богов с пьедестала.

Посвежело под утро до дрожи.
Взять бы шаль, да в окошке так звонко
В синем платице в белый горошек
Заливается смехом девчонка!

Посмотри на изменчивый облик
И посмейся беззвучно, посмейся!
Смех – отличное средство от боли,
Лишь когда в одиночку, не вместе.

А когда перестанешь смеяться,
Стань опять озабоченно-строгой.
Пятьдесят – это так же, как двадцать?
Шестьдесят – как пятнадцать, ей-богу...

Октябрь, 19—20.

Камень

A. Z

Там, где частит кардиограмма
Шоссе сквозь штрих-пунктиры просек,
Лежит некрупный плоский камень,
В асфальт с годами крепко вросший.

Под ним изъязвлена порода.
В ней влажный мрак и тихий шорох.

Там род невиданных уродов,
Слепых, членистоногих, голых.

Природы равнодушной мена,
Они пугливы и неспешны.
Тот камень – вся их ойкумена,
Вне ойкумены – ад кромешный.

Там смерть с бензиновой одышкой
Исправно собирает жатву.
Их цель – забиться глубже, ниже
Под гнет той каменной державы.

И только ночью лунной жаба,
Забравшись к ним на камень плоский,
Поет фальшиво-величаво
Псалом «В болотах вавилонских».

30 ноября.

Апрель

Апрель! Апрель! И солнца круг
Со мной играет в салочки.
Я берегом топчу икру
Нездешнюю, русалочью.

А это галька в пузырях
Замерзла с прошлой осени,
И я иду, топча, звеня, —
Такое удовольствие!

И так до самых пустырей,
Пока шел берег с галькою.
И для меня с тех пор апрель —
Прогулка музыкальная.

Ноябрь.

Картошка

Ах, русское лесное бездорожье!
Грязь непролазная. И дождь рюкзак сечет.
Помимо мышц, желанья и здоровья,
Необходимо что-нибудь еще.

Разгар маразматического «изма»,

Или застоя, как сейчас твердят.
Короче, это было в прошлой жизни,
Еще короче, – тридцать лет назад.

Мы, пара жизнерадостных балбесов,
Средь бревен, пней, строительства среди
Вскопали клоч земли по краю леса,
Чтоб там «свою картошку» посадить.

Картошка?!
Горсть зеленого гороха!
Глядели мы, невзгодам вопреки,
И стали хохотать, смеяться, охать, —
Ведь плачут малыши и старики.

В литавры август бил тарелок медных.
В конце концов, картошка или нет?!
Пускай над ней задумается Мендель
И в гневе отвернется Карл Линней.

Мы жилистых соседей подозвали,
Суглинистых, как земляная плоть.
Они, уставясь в землю, постояли,
Вздыхая тихо: вот, послал Господь...

Итак, мы отсмеялись.
Ну, а после
Ушли под парусиновый покров.
С сосны пичугой нам сладкоголосой
Все лето пела песенку любовь.

Ноябрь.

Первое погожее летнее утро

Утром повисло под веткой сосновой
Облачко красной пыльцы.
Ветер чуть тронул зеленую крону
И удалился на цы...

Замерло все в первобытном покое —
Пух облаков, жемчуг трав.
И, отогнув занавеску рукою,
Тихо шепну тебе:
– Здрав...

1 ноября.

Танк на прогулке

И серьезный, и усталый
По аллее шел щенок.
Он пыхтел и громко лаял
И старался со всех ног.

Шутка?
Нет. Какие шутки
С грузом бегать на прогулку!
Что за груз?
Давай вдвоем
Досконально разберем.

Пара умных черных глаз —
это раз.
Уши, морда, голова —
это два.
А еще четыре лапы,
Мокрый нос и хвост лохматый.

Сколько ж это?
Как же так?
Это не щенок, а танк!
Сколько было?
Сколько стало?
Надо начинать сначала.

Среди елок и берез
По аллее по осеней
Танк пыхтел, как паровоз,
И на танке был ошейник,

Карабин и поводок,
Красной кожи ремешок.
А конец у поводка —
У Василия-Васька.

Танк и лает, и рычит,
И назад бросается:
На ходу Василий спит,
Вот танк и старается!

Знает танк наверняка,
(Он ведь очень умный),
Что в кармане у Васька
Булочка с изюмом!

Верный танк в конце прогулки
Получил кусочек булки.

А обратно по аллее,
Чтобы было веселее
Закадычные дружки
Мчатся наперегонки.

12.01.

Февраль

Выйди на крыльцо и опьянись
Лишь глотком метельной круговерти.
Там в сопровождении оркестра
Джазовый играет пианист.

Словно голливудское кино:
Все преувеличенно и сочно.
И февраль транжирит щедро все, что
На конец зимы припасено.

Утром же в морозной тишине
Нет и полсловечка о метели:
Сосен перламутровые тени
Лягут на сиреневый на снег.

15.01

Последний дождь осени

Льва – по когтям.
В гримерной часто вздрагивал,
Пил корвалол, рядился в макинтош.
И лишь под утро —
Вот он, выход трагика:
Шуршал и шелестел по крыше дождь.

3 декабря.

Над рекой

Ночью светлой до зари над рекой
Говорят, не умолкают лады.
Неохота помирать стариком.

Так бы жил себе и жил молодым.

Так бы жил себе да песни играл.
Только грустных я б ни разу не спел.
И всегда б за мной закат догорал,
А восход передо мной пламенел.

Чтобы шла со мной царица-душа,
Зелены глаза да брови вразлет.
Все глядел бы на нее, не дыша,
И ломал бы тишины хрупкий лед.

А потом, обняв за плечи рукой,
У черемухи в цвету, у воды,
Спел бы грустную, как ночь над рекой
Говорят, не умолкают лады.

1 декабря.

Почти донос

Есть в русском языке такое слово,
И до сих пор в почете и в чести,
Хамелеон и пятая колонна,
И я его вам назову: ПОЧТИ.

Одно оно вполне миролюбиво,
Но стоит лишь с другим его связать,
Оно оскалит когти, зубы, бивни,
И вам от смысла больше ни аза.

«Ты ел?» – «Почти».
«Ты худ» – «Почти».
«Ты едешь?» —
«Почти», – и распаковывай багаж.
С таким партнером путного не слепишь,
Тем более нетленки не создашь.

И ловок до чего агент секретный!
Все тихой сапой, господи прости...
Пример.
Допустим, что на пачке сигаретной:
«Курение опасно. Ну, почти...»

Иудушку словесного не купишь.
В какие чувств анналы отнести:
«Котеночек, скажи, ты меня любишь?» —
«Конечно, курочка моя. Почти»

И было бы ужасно интересно
ПОЧТИ в язык компьютера вложить,
Пошел бы дым из электронных чресел,
И кончится компьютерная жизнь!

Чиста от злыдня береста, папирус,
И лишь бумаге суждено краснеть.
Ведь «да» – есть «да» всегда, а «нет» есть «нет»,
А что меж ними, есть траянский вирус,
Сферический конь в вакууме синус
Мохнатый монополь, перцовый минус,
(Где фразу мне закончить?), красный бред.

Пора призвать предателя к ответу
И пригвоздить к позорному столбу!
А нарушителям сего запрета
Писать ПОЧТИ фломастерам на лбу.

Я требую, чтоб строгий суд поэтов,
Таких, как Пушкин, Лермонтов и Блок,
Но не таких, как Быков или Летов,
Нам преподали чистоты урок,
И осудили б злобного клеветы
На справедливейший тюремный срок.

И будет тот вердикт суров, но верен!
К тому же подтверждаться будет тем,
Что в текстах судей – можете проверить —
ПОЧТИ не обнаружите совсем.

...Проходят времена, линияют нравы.
Грядущий век, галантен и учтив,
Вновь с остальными сделает на равных
Хитрющее зловерное ПОЧТИ.

Ноябрь-декабрь.

На смерть двух слив

Черемухины холода
Всегда неожиданны и всегда
Неповторимы.
А у природы свой расклад:
В начале лета каждый сад —
Невест смотрины.

И вот настала эта ночь

И облака умчались прочь.
Луна – как блюдо.
А по земле – тумана плед,
Над ним – дрожащий зыбкий свет.
Ну, что-то будет!

Гляжу в окно: туман.
Но вот
Плывет деревьев хоровод
Гусиным шагом.
Луны бесовский медальон
И рядом – паж, вихрастый клен.
Мундир и шпага.

Ты помнишь этот благовест?
Кипенье белое окрест,
Девичий праздник.
Ночная ярмарка невест,
Таких нагих, таких прелест-
ных,
Очень разных.

Груш царственная красота,
Черешен тонкая фата,
А вишни, вишни!
Сад – как дворец.
И слуги в нем,
Все окна осветив огнем,
Палят излишки..

И пелерины тонких слив,
Бегущих, ноги оголив,
Таких счастливых...
Потом туман в кусты уполз.
Потом пришел и стал мороз
И умертвил их.

1 ноября.

Предзимье

В окне зима?
Скорей, эскиз
Зимы. А попросту, предзимье.
Нет ожидаемой тоски
В разрывах туч, по-майски синих.

К обеду все заволочло.

Подкрашен белой краской задник.
Глядим мы радостно в окно
На наш помолодевший садик.

И вот готова декора-
Ция до самого утра.

В лицо метельный взрыв хлопущ-
Ки, музыка играет туш.

Стоп, стоп!
У нас не буффона-
Да, вязь реальности и сна.

А мы пока в окно глядим
И улыбаемся, и шутим.
Все это будет впереди,
Все это еще только будет!

Предзимье – тонкая игра,
Когда живут томленьем нервы,
Как ждет завзятый театрал
Давно обещанной премьеры.

Прозрачна пьеса и легка.
В ней нет ни примадонн, ни автора.
И если верить облакам,
Премьера будет послезавтра

3 декабря.

Татарник

Анне

Там, где кончается забор
И начинается кустарник,
Стоит жиган и честный вор,
Владыка пустырей, татарник.

Жилет зеленый, ирокез,
В обтяжку латаные джинсы,
Фиксатый рот, во взгляде бес,
Как говорят, поди подвинься.

За ним стеной у самых ног
Настороженною ватагой —
Лопух, крапива, василек,

Пираты грядок и бродяги.

А за забором в двух шагах,
Во влажной духоте теплицы
Растут с улыбкой на устах
Жеманницы и озорницы.

Цветы не ведают забот,
Зимы и северного ветра.
Они уверены: вот-вот
Садовник их придет проведать.

Воды живительной глоток
Направит в клапаны и фильтры
И кислород подаст в чертог
Через систему трубок хитрых.

Устав от трюма корабля,
Они зевают от Америк,
Им грезится Лазурный берег
И Елисейские поля.

Прилизан каждый лепесток
И одуряющ пряный запах...
Вдруг показалось: это – Запад,
А где татарник – там Восток,

Восток с дикарской простотой,
Наложниц визгом, бурей пыльной,
С бескрайностью и теснотой
И горечью степной ковыли.

Татарник же – бунтарь, изгой —
Стоит уверенно, степенно,
Как хан Чингиз, готовый в бой
Послать послушные тумены.

Цветы, татарник и забор —
Мне кажется, что это символ
Того, как бесконечный спор
Ведет сама с собой Россия.

7 ноября.

Старуха

Р. А. Брандт – с любовью.

На парковой скамье сидит старуха.
Она сидит так каждый божий день.
Не замечая, слякоть или сухо,
Как будто у нее нет больше дел.

Она сидит, прямая, как напильник.
На голове чудовищный берет.
На ботиках ухоженных ни пыли,
Ни пятнышка за уйму долгих лет.

А пальцы у нее как корни сныти.
Писать, такими? Шить? Избави бог.
Такими можно только, извините,
Толочь картошку да лущить горох.

Из не-пойми-чего – цыплячья шея.
Не шуба, нет, – доха?
Нет-нет, – салоп
Из богом позабытого музея.
Он в три обхвата, как цыганский гроб.

Она сидит упрямо и безмолвно
И не мигая смотрит лишь вперед.
В руке платок. Мужской. С каймой лиловой.
И сжатый рот характер выдает.

Да, много повидали эти руки.
Но шуба! Но берет! Осанка! Взор!
В них прошлое страны, а не старухи,
Как в стуче костылей – бряцанье шпор.

Что держит ее здесь? Какая жила?
Конец не страшен. Страшен лейтмотив.
Она своих давно похоронила,
Теперь совсем одна. И не уйти.

Она встает внезапно, с силой новой.
Тверда нога и вытянут носок.
И с дерева за нею лист кленовый
Слетает вниз и чуть наискосок.

Ноябрь, 14.

2018

Гадалка

Мне цыганка по руке гадала.
Говорила складно, нараспев.
Говорила о дороге дальней,
Про казенный дом и даму трэф.

Глазом на меня она косила.
Не коси!
Правдива ворожба.
Вот она идет из магазина,
Моя дама трэф, моя судьба.

08.01.

Запоздалое

Мы собираем яркие мазки
Прошедшей жизни в серенькую клетку,
Как нищий собирает медяки
В расстеленную под ноги газетку.

Со временем мазков – невпроворот.
Но вот что с каждым годом все яснее:
Количество мазков таких растет,
Но каждый по отдельности тускнеет.

Наверно, есть неписанный закон
Лимита интенсивности событий.
Не мы решаем —
Нам диктует он,
Запомнить крепко или же забыть их.

Иная жизнь – кипение, восторг!
Поездки, страны, пляжи, море женщин...
Глаза не могут высмотреть итог:
Пуантилизм и головокруженье.

Напротив, – нелюдим, анахорет,
Макает в кофе высохшую пышку,
Но разговор с ним через много лет
Ты помнишь как невиданную вспышку.

Я, вам поведав тяготы души,
Готов раскрасить мир вокруг и лица.
Цветные очинил карандаши.
Одна беда —
кончается страница.

4—7 января.

Кузнечик

Маленький кузнечик цвета хаки
Мне отважно прыгнул на ладонь.
В летном шлеме, будто Коккинаки,
Или Бельмондо в своем ландо.

Отогрелся, подождал немного
И пошел, усами шевеля,
Словно Ливингстон в верховьях Конго:
Вот открытый полная земля!

Самоучка, маленький старатель
Без подсказок, лживых и пустых.
Милый, мы троюродные братья!
Может быть...
И след его простыл,

Растворился в запахах и звуках,
Чем богат июльский травостой...
Он еще расскажет своим внукам
О ладони,
теплой и простой.

20.01

Раскаяние

Сказал: «Ну, все», — и в дверь плечом,
Оставив недопитым кофе,
И стало зло и горячо
От половодья кислой крови.

Потом вернулся.
Утром рано.
И встал, сменяя тонкий шелк,
Свою небритость проверяя
О сочный персик ее щек.

Новогодняя ночь.

Брошенные женщины

Брошенные женщины
В чем-то обезличены:
Годы приуменьшены,
Беды возвеличены.

Брошенные женщины,
Жертвы своей скромности.
Мастерицы печева,
Узницы скоромности.

Брошенные женщины
В массе одинаковы:
Трещины залечены,
Лакомы и лаковы.

Брошенные женщины,
Взгляды удивленные,
Ангелом помечены,
Дьяволом клейменные.

Брошенные женщины,
Мелкие в огромности.
В прошлом вспомнить нечего,
Только лишь подробности.

Брошенные женщины,
Жертвы паранойные,
Со слезой повенчаны,
Смехом коронованы.

Брошенные женщины,
Ищущие самочки.
В близости доверчивы
До потери самости.

Брошенные женщины,
Жадные без робости.
Этой человечины
Еще раз попробовать!..

Брошенные женщины,
Шерочки-машерочки,
Жизнью искалечены,

Но все те же девочки!

Брошенные женщины,
Все у них как водится:
Грешницы в бубенчиках
С сердцем богородицы.

12.01.

Зимнее утро

Вот погожим утром ранним
Да с ходьбы румянцем
Солнце кошкой аккуратной
Лапкой умывается.

Ночь в серебряной оплетке
Выпита до донышка.
Снегири на лапе елки —
Как котятки солнышка.

10.02

Ангел и черт

Как-то раз, вкусив небесной браги,
Что пьянит и в рот сама течет,
Завели спор белоснежный Ангел
И облезлый лысый старый черт.

Нет чтоб прошвырнуться по аллее,
Споря о достоинствах винца!
Ну, короче:
Кто из них полнее
Воплощает замысел Творца?

Первым слово взял Господний Ангел,
Обратив к восходу светлый лик.
Говорил он, в общем-то, не нагло,
Но напористо, как лучший ученик.

– Воплощаю Благо я с рожденья,
Я – источник света и тепла,
На весах незримых Провиденья
Больше я, —
И прочее бла-бла.

Улыбнувшись иронично, умно
Отвечал на это лысый черт:
– Ты – Благой.
Таким ты и задуман.
Но происхождение не в счет.

Ты забыл, кто Господу любезен:
Царский золотой иль стертый грош?
Грешник, кто раскаялся над бездной,
Иль невинный, кто и так хорош?

Так давай не будем препираться.
Провиденья мы с тобой лишь часть.
Я всегда имею шанс подняться.
Ну, а ты, дружище – низко пасть.

Январь, 30.

Язычник

Я – язычник.
В чаще непокорной
Отыщу заветную сосну,
Лягу в растопыренные корни
В теплый мох целебный —
и засну.

Я – язычник нового замеса.
У меня в кармане есть айпэд.
Но кому звонить из чащи леса?
Не фанатик я и не адепт.—

Двадцать первый век давно на рельсах:
Дальше, выше, прямо к облакам!
Вера – как костыль, чтоб опереться,
Меньше людям.
В большинстве – богам.

Я – язычник общего прихода,
Где кармин и охра, сурик, синь.
Тот приход – вся, целиком, природа.
Не работник я, а старший сын.

Я проснусь в преддверии заката,
Отдохнувший телом и душой,
Я сниму с щеки меньшого брата:
«Ну, бывайте, братцы! Ухожу.»

Вечереет.
Выхожу из леса
Медленно.
Мне торопиться лень.
Над рекой туманная завеса
Обещает завтра жаркий день.

16—24.01

Эпоха

Не могут понять варвар, скиф или гунн,
Как выглядит смена эпохи.
Лишь только тогда разбивают опоку,
Когда в ней застынет чугун.

08.01.

Воробей и голубь

Вчера в окно я подглядел,
Как воробей нес хлеба корку.
Бедняга взмок, пока летел.
Хлеб тяжеленный был и мокрый.

Он крыльями махал, махал,
И в клюве хлеб не удержал, —
Чай воробей, не кран подъемный!
Тут голубь, этакий нахал,
Хлеб – хватать!
И утащил под елку.

А воробей обшарил двор:
Две хлебных крошки вместо пира...
И я подумал:
кто здесь вор,
И кто, простите,
птица мира?

08.01.

Декабрь

Опять декабрь.
Мы мокнем под дождем.
Но ничего – мы биты и двужильны!

И не такое вместе пережили,
А уж декабрь мы вчих переживем!

Перчатки, шарф – ты с дождиком на «ты».
Ты при любой погоде будешь милой.
От года остается лишь обмылок,
Мне, как обычно, не до красоты.

Слышна повсюду звонкая капель.
В саду, как в половодье, все дорожки.
И с ясеня весь день летят сережки —
Решил, бедняга, что уже апрель.

Напомнив нам, каким был этот год,
Декабрь опять ступил на те же грабли.
Ты – не петух,
а год разверстых хлябей!
Привычки старика известны наперед...

16—24.01

Скрипач

Скрипач в подземном переходе
Сидит на стульчике складном,
Что у туристов есть в походе:
Каркас, прикрытый полотном.

Вокруг привычные старушки.
Петрушка, семечки и мед.
А он сидит, пьет чай из кружки
И ест с зубаткой бутерброд.

Рубашка мятая в полоску.
На голове – потертый фетр.
Он – свой, как говорится, в доску.
(От Станиславского привет.)

Он среди сырости и капель,
Как белкой спрятанный орех.
И отражает черный кафель
Его оптимистичный смех.

Окончив есть, шутить, смеяться,
Достал нестиранный платок
И вытер с интересом пальцы,
Губастый и подвижный рот.

Где жесты старого паяца?
Их нет!
Пружиною тугой
Он шляпу снял, затем поднялся,
Занес смычок над головой, —

И вдруг в безногого Ахава
Преобразился Моби Дик.
Что он играет, боже правый!
Что слышу я?
Не может быть!

Из «Бранденбургского концерта».
Вторая скрипка.
Где гобой.
Я вздрогнул.
Боже мой, ведь это,
Как из забытого конверта
Пахнет лавандою.
Тобой.

Засим последовала «Мурка»,
«Голицын» и «Лесоповал».
Испытывать такую муку
Я и в комфорте бы не стал.

И в звуках, простотою схожих
Сильней, чем схожие – просты,
С очередной волной прохожих
Иду.
И я его простил.

Простил ему ухватки фата,
Жир на руках и сальный смех
(В окоп летящая граната
Летит в тебя, а не во всех!),

Простил ему, что он навеки
Впечатан в русский наш лубок,
Что мы – с натяжкой, но коллеги
И что над нами общий бог,

Простил помятую рубаху,
Простил петрушечный почет...
За то, что он исполнил Баха?
Неправда!
Бах тут ни при чем.

Смех за спиной взорвался снова.

Я обернулся невзначай —
Он разливал в мирке медовом
По кружкам чай.
(Или не чай?)

Простил подземного паяца
За мелочь – истина проста:
Перед игрой он вытер пальцы,
Снял шляпу, скрипку взял
и встал.

4—5 января.

Чарли, ирландский терьер

Терьер ирландский – нравом генерал,
А взглядами – послушник, или инок.
Он никого к себе не подпускал,
Вот ранка на ноге и загноилась.

Натер ли как-то? Стукнул на бегу
Иль в честной получил собачьей драке?
В ирландскую впечатано башку:
Все стерпят Настоящие Собаки.

И счастьем было до недавних пор
Настигнуть кошек в мартовском проступке
И гнать их с наслаждением через двор,
Чтоб вихрем шерсть кружилась в переулке.

Твой неподкупный простодушный взор
Нас заставлял за дело приниматься.
Мы не вели фривольный разговор
И тут же прекращали целоваться.

А в хитрости ты был большой мастак,
Тихоня и аскет, приличия витрина.
Следить за всеми в тридцати местах —
Ты не терьер.
Ирландское нейтрино!

Местоблюститель дома и семьи,
Хранитель пуританского уклада,
Тебя боялись доги, черт возьми,
Неистовый мохнатый Торквемада!

В природе милосердна смерть к зверям.
Она их гонит дальше в чашу леса.

Смерть на глазах людей – позор и срам,
Собачьей жизни тягостный довесок.

Мы все терялись, люди и коты,
Под взглядом и взыскующим, и строгим.
Ты так хотел небесной чистоты,
Что первым проложил туда дорогу.

Счастливая, завидная судьба!
Ты в доме был правителем из тени.
Намордник ты считал клеймом раба
И милостиво позволял ошейник.

Я старый скептик.
Вера – атавизм.
Но чудится, что в небесах бездонных
Скажу я тихо:
– Чарли, отзовись! —
И мокрый нос уткнется мне в ладони.

2018

Щенок

Рычит щенок на нас из-за забора.
Старается, аж пробирает дрожь.
Глаза горят!
Да, видно, очень скоро
По-дружески к нему не подойдешь.

Он даже воробьев согнал с осины,
Бесстрашный и отчаянный щенок!
И только хвостик, все еще крысиный,
На всякий случай прячет между ног.

08.01.

Деревья

Здравствуйте, деревья! Как делишки?
Вас в убранстве снежном не узнать:
В блестках серебра, в толпе людишек
Мчится на рысях царёва знать.

Впереди сосна с осанкой статной
Нынче, откровенно говоря,
Я царицей звать тебя не стану,

Только фавориткой у царя.

Ветер ищет в кронах себе место.
И гуашь сменила акварель.
Словно спичку чиркнули в оркестре:
Красным – скрипки, альт, виолончель.

Красные стволы, как медь органа.
Весь регистр нижний, до басов.
В час назначенный орган тот окаянный
Проревет мне страшный трубный зов.

Задник весь в берез разводах серых.
Зимний эталон белил – не вы.
Будьте же немного милосердны,
Мне мазок оставьте синевы!

Луч закатный прыгнул с черной ели,
Мне зрачок хрустальный расцвел.
Милые, спасибо!
Я к постели
Возвращаюсь бодрый, полный сил.

31.01

Снегопад

Сыплет снег и сыплет в круге света
Монотонной шевелящейся стеной.
Третьи сутки, в тишине глухой, без ветра,
Как образчик бесконечности дурной.

И, как всякая дурная бесконечность,
Он имеет мысленный тупик.
Бестелесное, безОбразное Нечто,
Без клешни рак, лошадь без копыт.

Что она дурная – понимаю,
Сознаю: не воду пить с лица.
«Я другой такой страны не знаю».
...Господи, он сыплет без конца!..

02.01

После снегопада

Вчера был сильный снегопад,

Хотелось плакать.
Зима никак не вступит в такт,
То снег, то слякоть.

Теперь же снег летит пластом
С больничной крыши
И гонит воробьев за дом,
Домовых, рыжих.

И снег – как анекдот дурной.
Молвою битый.
И рак опять туда с клешней,
Где конь с копытом.

02.01

Снег

Как учитель, строгий, резкий
На окне ребятам
Чертит страшные отрезки
Циркулем рогатым.

Тихим утром на рассвете
Ляжет под забором,
Словно сторож дядя Федя,
Пьяненький и добрый.

06.02

Март и еще 11 месяцев

Памяти Самуила Яковлевича с любовью.

Кто выдумал, что месяц март – юнец?
Маршак?
Так он ведь с юга родом!
У них в Воронеже и жнец – в дуду игрец,
Забыл он: климат – это не погода.

Конец зимы?
Согласен.
Но конец
Любой – распад и савана покровы.
Попробуй-ка маршаковский малец
Осилить настоящие сугробы!

Когда завоет март в трубе – шалишь! —
Мне жалко путников, в особенности пеших.
Не зря в Армении март называют «гиж»,
Что в переводе значит «сумасшедший».

Нет, брат, «марток – поддень еще порток»,
Да не забудь про теплую рубашку.
Но чтоб малец испытывал восторг?
Маршак не ведал.
Это барабашка!

Так хочется назвать весны приход?
Тогда – апрель.
Не буду я аскетом.
(Но не забудь апрельский снег и лед,
На день Победы майский ледоход
И холода черемухины летом).

Тут есть и дополнительный резон.
Забыли, братцы?
Климат – не погода.
У нас ведь отопительный сезон —
Как минимум
(как минимум!)
Полгода.

Короче.
Климат наш той сказке вопреки
Диктует год делить на половины:
Зима, где царствуют одни мужчины,
Подростки, мужики и старики,

И лето, женские обличья и дары:
Красавицы и золотые руки,
Кормилицы оравы детворы,
Хозяйки Медной и любой другой горы,
Юницы самой ангельской поры
И, безусловно, мудрые старухи.

И паритет да будет соблюден!
Здесь все, как в жизни, а не так, как в сказке.
Кто знанием таким вооружен,
Тот Маршака читает без опаски!

08.01.

Если бы

1.
Если б ноги по дороге
Без меня ходили,
То меня бы от прогулки
Враз освободили.

Погуляли без народу,
Никуда не делись бы,
И обратно за работу
К своему владельцу.

Если б руки, две подруги,
Под руку гуляли,
Ночью в тихом переулке,
Кошек бы пугали.

Опоздают на минутку,
Я б ворчал немного,
Потому что добрый жутко,
С виду только строгий.

И была бы голова
На трех кнопочках,
И висела бы едва
На веревочке,

То в хорошую погоду
Без мотора, без руля,
Проходила б повороты,
Лишь ушами шевеля.

А потом назад вернется
И на кнопки пристегнется.

Сердце и подобный хлам
Я запрятал бы в чулан
Пусть лежит, валяется,
Не тужит, не старится.

Было б у меня тогда
Расчленение труда.

Я лежал бы на печи
Или не лежанке,
Ел бы с медом калачи,
С молоком баранки.

Наступила благодать —
Все они ушли гулять.

2.
Только хочется играть,
Вволю побеситься,
Прыгать, бегать и скакать,
Взад-вперед носиться.

А еще моя мечта
(Вы поймете сами):
Выбрать тихие места
И махать руками.

И в конце концов потом
Прокатиться колесом.

Как же быть мне, что же делать,
Выражаясь образно,
Если собственное тело
По частям разобрано?

Ой, забыл, что подарить
В праздник милой маме.
Приготовить или сшить?
Смастерить или купить?
Ничего мне не решить.
Поищу в чулане.

1—10.02

Качели

Я, Андрюха и Емеля
Покачались на качелях.

Мы качались, мы висели,
Мы смеялись и шумели,
Хохотали и кричали,
А потом совсем устали.
Нас качели укачали.

Нас качули укачели.
Что случилось, в самом деле?

Закружилась голова,
Мысли
И обычные слова
Пере-каче-ваются. (*Пере-путы-ваются*).

Первым встал силач Андрюха.
Смотрим – это Качеюха!
Покачнулся, покачался,
И качаясь во весь рост,
Задом качеоборот (*наоборот*).

А за встает Емеля,
Настоящий Качееля!
Словно страшный осьминог,
Качерук и каченог.

Качевой (*головой*) слегка качая,
Со слоновьей грацией,
Влез, дорог не разбирая,
Прямо в качекацию (*акацию*).

И последним я поднялся.
Каченулся (*покачнулся*), качержался (удержался),
Качелюсь (*тороплюсь*) дойти скорее
Качедеть (*посидеть*) в тени качерьев (деревьев).

Качеюхе (*Андрюхе*), Качееле (*Емеле*)
Калечу (*Кричу*) я про качели:
– Это просто *качерда* (ерунда)!
Пусть я буду *качетрус* (трус),
Качещаю (*обещаю*), качнусь (*клянцусь*),
Что не сяду на качели
Каччто и качегда!
ТЬфу, напутал. Не беда.
Я не сяду на качели
Ни за что и
ни-
ког-
да!

01.02

Танк на прогулке

И серьезный, и усталый
По аллее шел щенок.
Он пыхтел и громко лаял
И старался со всех ног.

Шутка?
Нет. Какие шутки
С грузом бегать на прогулку!
Что за груз?

Давай вдвоем
Досконально разберем.

Пара умных черных глаз —
это раз.
Уши, морда, голова —
это два.
А еще четыре лапы,
Мокрый нос и хвост лохматый.

Сколько ж это?
Как же так?
Это не щенок, а танк!
Сколько было?
Сколько стало?
Надо начинать сначала.

Среди елок и берез
По аллее по осеней
Танк пыхтел, как паровоз,
И на танке был ошейник,

Карабин и поводок,
Красной кожи ремешок.
А конец у поводка —
У Василия-Васька.

Танк и лает, и рычит,
И назад бросается:
На ходу Василий спит,
Вот танк и старается!

Знает танк наверняка,
(Он ведь очень умный),
Что в кармане у Васька
Булочка с изюмом!

Верный танк в конце прошулки
Получил кусочек булки.

А обратно по аллее,
Чтобы было веселее
Закадычные дружки
Мчатся наперегонки.

12.01.

Алюминий, железо и свинец *(Цыганская рапсодия)*

I

Ворожила цыганка на дочь и на первенца-сына,
Пока спал муж ее, натрудившийся за день кузнец.
Три металла – за сына, из самых простых: алюминий
Веселый, да строгую сталь, да веселый свинец.

II

И за дочку цыганка деревья окрест попросила,
Чтоб в беде до конца не оставили дочку одну:
Молодую березку в кудрях, да плаксу-осину
Да красавицу статную с телом медовым – сосну.

III

Черной жабой скакала она, черной птицей кружила
Влезла в сумрачный подпол змеиным клубком,
Дотянулась до жилы земли, и покорная жила
Отцедилась невиданным в мире людей молоком.

IV

Вот конец ворожке. Обе чаши полны. Она свечку задула.
И пурпурным в полнеба огнем загорелся восток.
Только острым ножом второпях по руке полоснула,
Не заметив, как кровь замутила таинственный сок.

V

Ей осталось, к порогу дойдя, обернуться спиной
И пролить обе чарки, не глядя, движеньем простыми.
Присмотрелась она: одна чарка с прозрачной слезою,
А вторую окутал густой и удушливый дым.

VI

«Бал-зе-Буб! Ворожба же была без единой помарки!
Так приму на себя то, что наколдовала рука!» —
И цыганка, вздохнув, осушила подряд обе чарки.
Показалось ей, в первой нектар. А вторая, как деготь, горька.

VII

Годы мчатся быстрее, чем язык у базарной торговки.
Не успеешь моргнуть, а уже не догонишь, шалишь.
Сын гитарной струной, да чернявый, да ладный, да ловкий,
Ну, а дочка тонка и стройна, как озерный камыш.

VIII

Так и выросли дети. А дети – родителям вежа.

Позабыла цыганка давно неудачную ту ворожбу.
Только лишь иногда, среди чужого веселья и смеха,
Словно крестик, две жилки вспухают на матовом лбу.

IX

Кем им быть – не велись пустозвонные разговоры.
У цыган ведь известна судьба на всю жизнь наперед:
Парню – то напрямиком в конокрады, ушкуйники, воры,
Ну, а девке – в гадалки, смущать деревенский народ.

.....

X

А в колодцах вода стала красной, как будто от крови,
Третий год как случился великий земли недород,
Принесли двухголовых телят одновременно коровы,
И звезда троерогая застила весь небосвод.

XI

А когда конокрады табун лошадей деревенских украли,
И, как сговорясь, бабы стали мертвых младенцев рожать,
Встрепенулся народ. Бабы взвыли. Мужики осерчали,
Стали думу гадать, стали думушку соображать.

XII

Три охотничьих схрона, засады по хоженным тропам,
Как на зверя, но зверь – он же все-таки свой.
Тати в волость соседнюю вплавь по болотам да топям,
Там вожак и утоп. А цыган – он живуч. Тут я взяли его.

XIII

Вот пошли через лес по дороге в деревню родную,
Повстречали цыганку, что пела чавелы свои.
Вот уж повезло нам! Хватайте, робяты, колдунью!
Ну, мешок да веревка, а дальше – зови не зови.

XIV

Долго били. В деревне серьезней не сыщешь работы.
Как устали, то сели в тенечке охолонуть.
И доставить вражину в деревню, четному народу.
Как решит, так и будет. Нам нечего жилы тянуть.

XV

Привели их домой и оставили на ночь в овине.
А колдунья всю ночь провела головою в мешке.
Утром вышла народа обозленная половина,
Только малые детки остались да ветхие старики.

XVI

Вышел дед с бородой, как морозом прихваченный ясень.
«Все мы дети христовы», – сказал и подернул штаны, —

«Божий мир вокруг нас так чудесно прекрасен,
Что негоже нам душу чернить кровью слуг сатаны!

XVII

Бойтесь божьего гнева – как пылинку снесет, только дунет!
Нам же жить по законам его, в смиренности одном да в чести.
Вот колдунья. Гляди – хватит силы прикончить колдунью?
Значит, грех на тебе. И тот грех тебе дальше нести.»

XVIII

Тут цыган посеред, как песок, смерти краше.
Очень жить уж хотел.
(А колдунья все в том же мешке)
Он задал ей сначала хорошей березовой каши
И к осине потом привязал, той, что невдалеке.

XIX

Гомонила толпа, бушевала, но только отчасти
Пожевал дед губами и молвил с хитринкой в глазах:
«Отпустите его, он теперь никому не опасен.
Вижу, смерть скалит зубы, как пес у него на плечах».

XX

Подивились кругом, как спокоен он стал и стал истов.
Знать, души его вышел положенный срок.
Старый дед тут как тут – в руки дал ему факел смолистый.
Подошел он к колдунье и снял напоследок мешок.

XXI

Кинул факел в дрова, почерневший от черного дела,
Он емев в один миг, и все силился что-то сказать.
А она все молчала и только глядела, глядела.
Так в молчаньи о чем-то кричали друг другу глаза.

XXII

Выл всю ночь шалый ветер на страшном на том пепелище.
Он затих, лишь найдя прядь смолистых волос.
А цыган – вот змея! —
оборвал на ремни голенища,
Задушил часового и в плавни гадюкой уполз.

...

XXIII

Постарела цыганка.
Да кто ж молодеет с годами?
Пусть твой шаг невесом и пусть сердце в груди не шалит.
Средь людей повелось так, началом назначив Адама.
Но иначе дела обстоят у потомков Лилит.

XXIV

На базаре цыганка услышала страшную новость,
Как колдунью сожгли – злоязычна людская молва!
Лишь повис поперек лба заправленный за ухо волос,
Когда шла и споткнулась, услышав дурные слова.

XXV

И оставив горшки, заспешила цыганка с базара.
День воскресный, торговый. И вон где Ярилы ладья!
Только дома она старику ничего не сказала,
Все сидела, на те злополучные чаши глядя.

XXVI

И она дождалась, как охотник, заветного стука,
Лишь сдержала от сердца идущий рыдающий стон.
Ворожба ворожее не радость, а смертная мука,
Знать: тобой исполняется древний и страшный Закон.

XXVII

«Это он». – «Открывай же скорей, моя мать!! —
«Это он». – «Я скитался, не ел и не пил много дней.
Постели же на стол свою белоснежную скатерть
И тащи все, что есть.
Да горячей воды не жалея».

XXVIII

Она сделала все, как просил.
Принесла угощенья
И бутылку мутноватую огненного первача.
Только вышла из горницы, якобы из уваженья,
А на деле чтоб скрыть торжествующий пламень в очах.

XXIX

Приподняв занавеску, украдкой она посмотрела:
На столе только кости.
И тихо мерцает свеча.
На диване лежит утомленное грузное тело
И отброшена в угол пустая бутылка первача.

XXX

И ее ворожба претворилась в неслыханном чуде,
Будто тут же глотнула живой чудотворной воды:
Вновь девичий румянец и рвут платье острые груди,
Словно дочь ее смотрит сквозь черный удушливый дым.

XXXI

Входит в горницу, отягощенная грузом неженским.
Руки действуют слаженно, словно не две, а одна.
Силою снова полны, без движений поспешных и резких,
Будто нет никого во всем мире —

лишь он и она.

XXXII

Сталью тонкой стянула колени ему и запястья,
Алюминия крест, где все писано наоборот,
Протолкнула ему в заскорузлые жирные пальцы
И свинцом залепила губастый трясущийся рот.

XXXIII

Как ужаленный, старый цыган со своей половины
Прибежал, слыша выстрел ружейный, а следом – второй.
Что он видит?
Жена или дочь рядом сыном,
Неживые.
Тогда он поник своей белоснежной главой.

XXXIV

До сих пор эта тайна жива и никем не раскрыта.
И судачат цыгане, собравшись на сход каждый год:
Милосерден Господь —
Он вернул старику его сына.
А жена или дочь – обе бабы.
Пусть плачется черт!

2019

Мгновение

Сказал чудила с пламенем в очах,
Что Страшный Суд никак не разразится,
То есть, приходит тихо, невзначай,
Как зреет плод или растёт горчица.

Но как нам быть с физическим скачком,
Когда в кувшин преобразится глина,
Когда события растут, как снежный ком,
Чтоб вниз с горы обрушиться лавиной?

И как нам быть, что уйму долгих лет
Когда Он, Триедин, во мраке искру высек,
Сказав устало:
– Вот, да будет свет! —
И свет стал быть, или пресуществился.

За систолу, как грянет Страшный Суд,
Людские вины вспучатся заранее,
Настанет миг предательств, миг Иуд,
Лобзать устал которых Назарянин.

Тогда умрут напольные часы,
И сердце вдруг собьётся на полтона,
Все, как всегда.
И только воют псы,
Почуяв серный дух Армагеддона.

Январь.

Delirium Cordi¹

Любови Николаевне Н.

Вот октябрь. И сепия ненавязчиво сменяет пленэр сентября,
Избавляя от черновиков грехопаденья весь город.
В такие минуты особенно остро не хватает тебя.
И что-то мне говорит: беловик будет написан нескоро.

У «нескоро» есть старший двоюродный брат – «никогда».

¹ Delirium Cordi – безумие сердца, сердечное безумие (лат.)

У обоих – прапрадед косматый по имени Вечность.
Загадай что-нибудь на меня. Что-нибудь на меня загадай.
Зеркала, как положено, а между ними – две слезливые свечи.

С серебристым отливом мне вгрызается в сердце змея.
Только чудится мне, что меня не сегодня убили.
Кто-то рыжий, высокий, заразительно громко смеясь,
Повернет за спиной у меня незаметный рубильник.

Всю дорогу в окне совершает прыжки и кульбиты луна.
В этом поезде вход, но один.
Ну, а выходов нет.
Но их много.
Так устроена жизнь.
Здесь поможет хороший удар колуна.
Не размахнуться никак.
Воздух, воздух!
Не одышка, а сущая погань.

Мы живем, как пятьсот лет назад, с острым ухом, прижатым
к земле.
И плевать, что в руке у тебя – шестопер, автомат или гаджет.
В облаках сладкой таволги, сонно качаясь в седле,
Старый темник уходит, уходит все дальше, уходит все дальше
и дальше.

Поллюстровский проспект – Вырица.

Неспетые песни

*нарушенного мозгового кровообращения
и
острой сердечной недостаточности*

Забыли вы, какой я был красавец.
Мне остается лишь напомнить вам,
Как я иду, рукой звезды касаясь,
И кланяюсь лишь детям и ветвям.

На закате сосны красные,
Сероватый дым осин.
Лес один, деревья разные.
Потому необъясним.

Я люблю вас, не пугайтесь, платонической любовью.

Так хочу.
А к остальному равнодушен, слеп и глух.
Прорезается наверно старческое многословье.
Хуже стариков болтливых только полчища старух.

Дремлю под собственные стоны
И понимаю: я ничей.
О, эти кукольные станы
И лягушачьи рты врачей!

Что же искал он так пули кавалергардовой,
Что несся вприпрыжку ажно до Черной речки?
Видно, чем-то Творца он особо порадовал,
Раз судьбою он прежде всех сроков судьбою отмечен.

Душа на распутье.
Бежать без оглядки
Иль слепо стремиться вперед?
В удушье страстей что пристойно?
Что гадко?
Пусть Клио решает, какую загадку
Подкинул ей шалый Эрот.

Слобода Небо и лица

Все, изложенное ниже, является извращенной фантазией автора

Про Ньюшку и про смерть

(святочная байка)

1.

Нюшку Лукьянову все знают. И все про нее сначала говорят, что она ни черта не боится, а потом – что сирота и скатываются к тому злосчастному египетскому лайнеру. Гораздо интереснее тот факт, что поставь Ньюшку хоть перед местным начальником полиции полковником Мамочкиным, при появлении которого у здешних цыган начинался понос и нестерпимый зуд явки с повинной, – поставь, говорю, Ньюшку хоть перед Мамочкиным, хоть, прости господи, перед президентом, да святится, как говорится, за наше счастливое, и его, голубя, обрабатывает: бритого отстрижет, а стриженного отбреет. Вон она, во дворе у дома, одна голова за сугробами и видна. Видите? Бздюлина от часов. Вот это она и есть.

Да, ни хрена не боится. Проявилось это в школе в первом же классе. ДедУля с бабУлей подготовили ее как могли. Она пришла. А поскольку была рослая да статная, широкая в кости и с ясным взором, то ее отправили на последнюю парту, к цыганенку Яшке, которого задразнили в первую же переменку, так что во вторую переменку он исчез и больше не появлялся. Тогда взялись за Ньюшку. Речевки типа «Анка цыганка» мало ее задевали, но вот когда на большой перемене главный бзденьш, который отказался, как многие в классе, от бесплатных завтраков для малообеспеченных, взялся за нее, она не выдержала. Толстый щекастый увалень с мучнистым лицом, держа в руке очередной бутерброд с красной рыбой, крикнул ей:

– Есть хочешь? – она и тогда сдержалась.

Малообеспеченных кормили плохо. Ей бы три таких завтрака.

Вокруг угодливо засмеялись. Мучнистый увалень почавкал бутербродом и осклабился под этот смех:

– А ты попроси!

В следующую секунду он уже мчался по школьному коридору, изнемогая от страха, потому что Ньюшка просто встала молча и двинулась на него, суровая, как богиня мщения.

Мучнистый глист спрятался в мужском туалете, что было стратегической ошибкой. Ньюшка ногой открыла дверь в туалет и безошибочно определила по истерически частому дыханию, что обидчик прячется в дальней кабинке. Выбить задвижку ударом ноги было секундным делом. Гад сидел на унитазе, обняв себя руками и завывая от ужаса. При виде Ньюшки он повалился на колени, а потом кулем на загаженный кафельный пол. Ньюшка с отвращением потрогала его носком ботинка, как трогают полуразложившийся труп собаки, и пошла в класс. Ей стало скучно. А потом в классе появилась завуч и картонным голосом объявила, что ее вызывают в кабинет директора.

– Да идите вы, – отвечала ей Ньюшка, собирая портфель, – в жопу.

И ушла в свой домик в глухом переулке на окраине поселка, где жила с дедУлей и бабУлей, собакой Облаем и котом Степаном Митрофаньчем. И так прошел год. О ней никто

не вспомнил, Черт его знает, что у них там в школьном образовании, но, похоже, как и везде, то есть движется туда, где проблем меньше.

В общем, этот год прошел, наступил следующий. О ней не вспомнили. Ну, стало быть, в верном направлении Нюшка их послала.

Диспозиция по переулку.

Если смотреть с улицы, то в первом налево доме живет алкаш, имени которого Нюшка не знает. Вечно он торчал возле дома, тощий, злой на весь свет, и ругался то с кем-то из дома, то с прохожими, а когда вокруг никого не было, что-то ворчал и бухтел себе под нос. Даже приبلудные собаки, пробегая по переулку, возле кривого и косога забора углового дома, поджимали хвосты и торопились поскорее проскочить это место.

Дальше был участок Олега и матери его, тети Инги. Тетя Инга занималась цветами – простыми, типа флоксов и душистого горошка, но их было много – даже перед забором вдоль канавы росли цветы, розовой пеной заливая забор. Олег был известен тем, что у него был «Мерседес». Где он работал, чем занимался – никому не известно. Только он с утра до вечера возился со своим «Мерседесом». То ли «Мерседес» попался бракованный, то ли руки у Олега чесались, а только он неделю лежал под машиной, чтобы потом выехать на один час куда-нибудь, и опять под нее. Такая вот судьба у человека.

За Олегом по левую сторону переулка было пустое пространство, а дальше жили цыгане, тетя Таня с мужем Евграфом, но жили тихо, не шалили.

А по правую руку первым был участок дяди Юры и тети Марины. Они приезжали только на лето и жили незаметно, как сверчки за печкой. Вечерами у них на веранде до утра горел свет. Раз Нюшка увидела, как тетя Марина лежит в гамаке перед верандой и кормит титкой младенца, а дядя Юра сидит на ступенях веранды и чистит картошку.

За ними находился участок дяди Автандила, то ли грузина, то ли армяна, но очень доброго, даром что нерусский. А дальше жили Писатель (так его все называли) с женой Татьяной Аркадьевной (Нюшке и в голову не приходило назвать ее тетей), и дядя Витёк, с женой, кругленькой и ладной тетей Ангелиной.

За дядей Витьком было большое пустое пространство, поросшее тимофеевкой и клевером, но про то разговор впереди. Ну, а последней было изба в два этажа – Нюшкина, стало быть. И частенько летним погожим вечером до остальных участков в переулке из этой избы доносилась песня: дедУля совсем не старческим и надтреснутым, а неожиданно молодым и чистым голосом выводил:

*Красных сосен шали,
Серый плед осин²*

А бабУля тоже даже не подпевала, а вторила звонко и певуче, по-женски:

*Северные дали,
Вьцветишая синь...*

И исполнение их напоминало работу столяров-краснодеревщиков: дедУля, значит, вырезал из какого-нибудь благородного ясеня что-то витиеватое, а бабУля полировала это что-то и покрывала прозрачным, мерцающим в полумраке лаком.

Значит, так и жила Нюшка с дедУлей и бабУлей, а также собакой Облаем и котом Степаном Митрофанычем.

² Приводится отрывок из стихотворения А. Караушина «Морошка» (прим. автора).

Степан Митрофаныч был степен, немолод и больше всего любил принимать величавые позы на глазах изумленных зрителей. Особенно ему нравилось, когда им громко восхищались. Впрочем, иногда Степан Митрофаныч решал напомнить, кто есть кто в доме и устраивал мастер-класс по ловле мышей. На это у него уходило столько же времени, сколько человеку, чтобы выйти из дома до ветру и вернуться обратно. Он оставлял задушенную мышь в сенях и возвращался на свое место с ленивой грацией сутенера, контрабандиста или профессионального убийцы.

Облай, напротив, являл собою полную противоположность Степану Митрофанычу. Во всем, включая свое предназначение в этом мире, наисобачьем из всех возможных. Очевидное недоразумение, произошедшее между мамой-таксой и папой-фокстерьером, Облай компенсировал преданностью и рвением, переходящими в идолопоклонство язычника. С незамутненной простотой невежды он решил опровергнуть законы квантовой механики, запрещающей материальному объекту находиться в нескольких местах одновременно. И это ему почти удалось, особенно когда Нюшка выходила с ним во двор. Тогда ей доставался либо клубок собачьих лап, ушей и хвостов, а лай за углом, либо лай прямо перед ней и клубок лап, хвостов и ушей где-то за углом.

Что до дедУли с бабУлей, так их называла одна Нюшка. Для посторонних же они были – Ульян Захарыч и Ульяна Никитична.

2.

Так вот, дедУля, когда он еще не был дедУлей, а был Ульян Захарыч, строил всех вокруг себя в радиусе пятнадцати метров. Даже цыган соседских по переулку приучил перед каждой поездкой сообщать ему о целях и продолжительности поездки, а по возвращении докладывать, все ли в порядке. Жизнь ломала его, кудрявого да черноусого, много лет, а он все попохатывал, сверкая белозубой улыбкой. Тогда она, подлюка, зашла с другой стороны. Когда пришла Ульяну Захарычу пора оформлять пенсию, девица с оловянными глазами и безуспешно выводимыми мужскими усиками, сидящая за стеклом в пенсионном фонде, долго шуршала его бумагами с отлитой в них человеческой жизнью с восходами и закатами, дождями и метелями, женской любовью и рождением первенца, и работой, работой, работой, – нажимала кнопки калькулятора и клавиши компьютера и объявила, наконец: по первой части его стажа, где сплошные трудоводни, для их подтверждения не хватает какой-то заковыристой бумажки с очень редкой разновидностью печати, в наше время уже не встречающейся. Что же касается второй половины стажа Ульяна Захарыча, то он должен помнить, сколько раз завод менял собственника. А в нулевые, как помнит уважаемый Ульян Захарыч, заводоуправление сгорело вместе с архивом. Нет, конечно, все в поселке знают, кто такой Ульян Захарыч, и что он делал на заводе. Но вот комиссии из Москвы это не известно, ей нужен документ. А документа нет. В списке юридических лиц сгоревшее акционерное общество закрытого типа не значится.

– Так, – улыбнулся ей Ульян Захарыч. – И?..

Девица, отведя глаза в сторону, объявила, что подтвержденного стажа Ульяна Захарыча хватает, чтобы поднять ему пенсию выше минимальной, до восьми тысяч рублей в месяц.

– Спасибо, доча, – сказал ей Ульян Захарыч. – Хорошего тебе мужа и здоровых детишек.

И пошел прочь, улыбаясь красивым девушкам по пути и подмигивая замужним женщинам.

У пенсионеров в поселке был один способ приработка – охранником в магазине. Когда Ульян Захарыч попытался устроиться в магазин стройтоваров, первое же посещение поликлиники выявило у него перенесенный на ногах инфаркт. Узнав про то, Ульяна Никитична легла на амбразуру, запретив ему думать о работе. Она выиграла сражение, но проиграла войну. Потому что, уйдя на пенсию, дедУля с головой окунулся в домашнее хозяйство. С утра

до вечера он беспрерывно что-то пилил, строгал и вытесывал на заднем дворе, где оборудовал что-то вроде летней мастерской.

Судьба тогда обиделась на него за такую непочтительность. Не затем она судьба, чтобы жить, ее не замечая. Какое-то время она выжидала, выбирая, куда нанести удар, чтобы побольше.

Ну, и нанесла.

Сын. Андрюха. Андрей Ульянович.

Внешне это никак на дедУле не отразилось. Он все так же с утра до вечера тюкал топором, стучал молотком, жужжал дрелью и визжал шуруповертом. Разве что стал чаще присаживаться на отдых и стал ходить с палочкой – не потому что нуждался в ней, а просто Андрюха когда-то со смехом сделал ему пенсионный подарок, стариковскую палку, чтобы никогда, как говорится, не понадобилась.

Еще Андрюха отдал перед отъездом дедУле свой второй мобильник. Так дедУля с ним носился, как курица с яйцом – носил при себе, поминутно смотрел на дисплей, исправно заряжал, оплачивал каждый месяц. В общем с тех пор тараканы в его голове и зашевелились.

Нюшка первая заметила, что дедУля ощупывает каждый гвоздь перед тем, как приложиться молотком, и сказала об этом бабУле. Та всполошилась, потащила дедУлю в местную поликлинику, а оттуда – в город, в федоровскую, глазную, где симпатичные кобылицы, затянутые в стильные голубые халатики, полдня танцевали вокруг него медленный эротический танец, а потом объявили, что у дедУли какая-то мудреная глазная дистрофия, которую нельзя излечить, а можно только замедлить – уколами прямо в глаз, количеством чем больше, тем лучше, но самое меньшее по три в каждый глаз, по сорок тыщ рублей за укол.

– Стало быть, всего двести сорок тыщ? – уточнил дедУля. – А почему не миллион, красавицы? Чтобы мне интереснее было вас послать в жопу?

И вернулся к себе, а бабУля плелась за ним всю дорогу и пилила, но это больше для самоуспокоения.

– Ложку я мимо рта не пронесу, – сказал он по возвращении Нюшке, – и тебя с бабкой не перепутаю – ее, брат, ни с кем не перепутаешь.

Дома бабУля отыгралась по полной, запретив дедУле и близко подходить к инструментам. К этому моменту сводить концы с концами стало совсем тяжело, так что дедУля смирился, начав потихоньку распродавать инструменты. В поселке было ателье по ремонту, где приторговывали подержанным, но исправным инструментом, так что электролобзик или шуруповерт шли там на ура.

Во все этом проступали явные признаки ненормальности. Соседи по переулку, да и вообще все, кто знал Ульяна Захарыча, недоумевали, как неглупый с виду и умудренный годами человек мог докатиться до распродажи собственного имущества. А дело в том, что Ульяну Захарычу и Ульяне Никитичне полагалась от государства компенсация за тот окаянный самолет. А за сына и невестку – двойная! По всем ящикам тогда трубили, что решение принято и деньги выделены. Тут бы деду и подсуетиться. И сосед, Витёк, когда Ульян Захарыч, ссылаясь на слабые ноги, просил сдать за него бензопилу или набор японских сверел в ателье, заговаривал с ним об этой коменсации. Дед притворился глухим и вопрос игнорировал. А года три назад Витёк пришел к старикам в дом поговорить об этом. Нюшка как раз играла со Степаном на крыльце; Облая и в помине тогда не было.

Дед выслушал Витьку, а потом поднялся, тяжело опираясь на палку, во весь свой немалый рост.

– Я за сына с протянутой рукой к ним не пойду, – сказал он и постучал палкой в пол, так что дом загудел от нижних венцов до чердака. – Дадут – возьму. Не дадут – пусть идут в жопу.

А Ульяна Никитична в это время перебирала на столе какие-то листочки-корешочки, и непонятно было, понимает она, о чем речь, или тоже вполне себе безумна.

С тем Витёк и ушел, хотя деду продолжал помогать, как мог.

Тогда же у дедУли родилась идея посадить на поле между их избой и переулком картошку, чтобы жить стало лучше и веселее, и договорился с Витьком. Витёк пригнал свой заковыристый японский культиватор и попробовал вскопать поле. Из земли полезли битые горшки да фаянсовые чайники, а под конец венцом абсурда – ржавая кровать с панцирной сеткой. Оказалось, что тут цыгане втихаря устроили себе помойку, выбрасывая в крапиву все, что им не нужно. ДедУля не сдался, неделю еще прокапывал поле вручную и посадил-таки в первый же год картошку. Какой-то заковыристый сорт выписал, аж из откуда-то. Типа синеглазки. И что вы думаете? В первый же год налетел на поле колорадский жук. Да сколько! Тьма-тьмушая. ДедУля с бабУлей попробовали было повоевать с ним. Куда! А потом дедУля сдался и попросил Витька забронировать все поле к такой-то матери. И засеял его клевером, да не простым, а красным. С тех пор приходиться к ним в гости стало приятно, по клеверному-то полю, да ходить в гости было некому. Поле стало клеверным, но называлось по-прежнему картофельным. Здоровое чувство юмора у старикана.

У Нюшки, кстати, с тех пор память и зажглась, как лампочка, с нашествия колорадского жука. До того все в разрозненных отрывках, а с этого момента пошло непрерывным потоком, как будто кто толкнул ее в бок, и она проснулась.

Когда кончились ценные инструменты, дедУля перестал заниматься хозяйством и даже выходить из дома, а целыми днями сидел на сказке и смотрел телевизор без звука.

Сказка – это для Нюшки сказка. А вообще это сундук, сделанный в те благословенные времена, когда мастер создавал вещь на несколько поколений вперед, не считая красоты, конечно. Сундук был сделан еще до революции из аккуратных планок, покрытых вишневым лаком, обит по углам сталью и обтянут для прочности стальной полосой. Открывался он действительно каким-то сказочным ключом – ажурным, массивным, который хранился у бабУли под подушкой.

В сказке хранились вещи, привезенные дедУле с бабУлей из-под Смоленска, где прошла первая половина их жизни, в большом совхозе на несколько тысяч дворов, где дедУля, а тогда Ульян Захарыч, работал начальником машинно-тракторной станции, а бабУля, тогда Ульяна Никитична, – медсестрой в местной амбулатории. В сундуке хранился аккордеон в футляре: дедУля в молодости был затейник и имел музыкальный слух. Аккордеон был импортный, трофейный, немецкий, невероятно красивый и напоминал большую елочную игрушку. Еще в сундуке была пожелтевшая газета со статьей о Андрее Лукьянове, о том, как он доблестно несет милицейскую службу, и фотография его – в новенькой форме, рот до ушей, чубатого да конопатого. А еще в сказке хранились саяны. Саян – это платье из льняного полотна, которое шьют себе девушки к приданому, украшенное вышивкой, жемчугом и серебряной нитью. Обычно шьется три саяна – один на мелкие праздники вроде Первомая да седьмого ноября, другой – себе на день рождения да на Новый год, и третий, самый торжественный – на свадьбу, на крестины ребенка, на день рождения мужа да на день Победы.

То, что рассказывали дедУля с бабУлей о своей смоленской жизни, было так непохоже на окружающую Нюшку действительность, что самым уместным было слово «сказка». Даже слово «Смоленск» было для Нюшки веселым. В нем потрескивали березовые поленья в печи, а из трубы вился даже не дымок, а особый дух, который обозначает человеческое жилье, уют и мир, то есть, все, что объемлется словом «покой». И покойнее всего Нюшке было, когда дедУля с бабУлей сидели рядышком и выводили:

*Голуби-голубы
По небу летят.
Северные губы*

Жгут и холодят³.

Нюшке нравилось сидеть на кровати рядом с разложенными из сказки вещами, саянами да аккордеоном. А ежели дедУля еще и футляр расшелкнет, то совсем хорошо: можно водить пальчиком по перламутровой, как бы светящейся изнутри поверхности, под непрерывные и бесконечные рассказы дедУли. Или разглядывать расшитый по вороту, рукавам и подолу жемчугом саян, прохладной тяжестью лежащий на руку.

– Приехали мы, стало быть, в село, – рассказывает дедУля.

О чем это он? Какое село? Заканчиваться должно счастливо.

– Повели нас на берег реки, к проруби. А там бревна рассыпаны. Разобрали мужики бревна из воды, а к ним на цепях да на веревках бочка просмоленная. Отвязали они эту бочку да в село привезли. А как вышибли у ней дно, полна бочка оказалась огурцов, да каких! Малосольных, как будто вчера спроворены. Махонькие, один к одному. В феврале! И без всяких холодильников да морозильников, вот как. Только, – огорченно добавляет дедУля, – съесть их надо побыстрее, потому как через два дня пожелтеют.⁴

Нюшка звонко смеется, представляя, как полдеревни питается одними огурцами, чтобы не пожелтели. Бабуля в это время вяжет носки, а Степан Митрофанович лежит между ними, не веря своему счастью.

Или, скажем, в другой раз дедУля вспоминал, как он познакомился с бабулей: увидел новую медсестру в амбулатории и на следующий день помчался туда же – делать предложение. Ну, натурально надел чистые портки, белую нейлоновую рубашку и помчался в амбулаторию.

– Приезжаю – и что? – возмущенно повышает голос дедУля. – А она там с Серегой Цыпляевым, кузнецом нашим, шурымурничает: за ручку его держит, только что не отплясывает. Шимми, понимаешь?

Нюшке непонятно слово «шимми», но ей все равно весело. Дед на такие вещи был мастак.

– О чем ты говоришь! – возмущается бабуля. – Цыпляева тогда змея укусила! Должна же я оказать ему помощь!

– Змея там точно была, – дедУля подмигивает Нюшке. – Смотри, девка, не связывайся с хитрой бабой. Она тебя схарчит без соли и хлеба просто так, из природной вредности.

– Ульян Захарыч! – кричит потерявшая терпение бабуля. – Она же ребенок, чему ты ее учишь?

– Тому, что девка может вырасти в бабу, а может – в женщину, – объясняет дедУля и замечает вкрадчиво: – Ты про то, Ульк, и не слыхала, поди.

– Где уж нам уж выйти замуж, – бабуля поджимает губы.

– Эх! – вздыхает дедУля. – Вот переселюсь в Землегорск, кто тогда ей глаза на жизнь откроет?

– Звонарь конюшенный, – комментирует бабуля и объясняет: – Если в девке есть женское начало, то и вырастет женщиной. А бабой становятся от воспитания.

– А Землегорск – это где? – спрашивает Нюшка.

Бабуля всплескивает руками, а дедУля смеется:

– Это на два метра под землей!

Вот так у них проходили вечера.

Да, значит, дедУля сидел на сказке у телевизора и смотрел в беззвучный экран.

Особенно ему нравились фигуристые ведущие.

– Улька, ты погляди, какие буфера, – обращался он к бабуле.

³ См. прим. на стр. 66 (прим. автора).

⁴ Такой способ консервации малосольных огурцов действительно существовал в северо-западных областях России (прим. автора).

– Отстань ты со своими буферами, – отвечала бабУля.

– Да не мои они и даже не твои, – вздыхал дедУля. – Да, сисястая – первый сорт!

– Вам, мужикам, одни сиськи на уме!

– Ну, ежели у бабы сисек нету, это уже не баба, а ко мне Мухтар какой-то, – задумчиво говорил дедУля. – Нет, баба должна быть бабой – чтоб обнял ее, и душа набекрень.

– Что ж ты меня взял, а не Зинку Голощопову? – переходила в контрнаступление бабУля. – Четвертый номер, как раз для тебя!

– Фу ты, чертовка, не понимаешь. В постели же хочется жену рядом иметь, а не корову молочной породы, – выкручивался дедУля.

– Положит она тебя на одну сиську, – смеялась бабУля, – а другой прихлопнет, как комара!

– Вот, Нюшка, – обращался к ней дедУля, незаметно подмигивая, – Видала, какие бабы бывают? Это, брат, тебе не жук чихнул!

С неослабевающим интересом смотрел дедУля так же репортажи из зоны боевых действий. Дело в том, что второй сын дедУли с бабУлей, младшенький, Петенька, Петро, Петр Ульянович, а для Нюшки просто дядя Петя, жил в Донецкой области и заведовал детским садом в богатом и крупном селе. Последний раз они виделись, когда Нюшке был годик (она ничего не помнит), а брат Андрей с женой были еще живы. Уговаривали его переехать поближе к старикам, он обещал подумать, да как-то не сложилось, а потом и не до того стало.

Так что теперь дедУля смотрел репортажи, в которых пушки безостановочно и беззвучно жарят в ночное небо: усталые солдатики в касках заправляли пушку смертью, принимали к ней на секунду, а потом отшатывались, а пушка подпрыгивала. Затем снова все повторялось по многу раз и разными подробностями.

– И-и, милай, – бормотал про себя дедУля. – Даже не посмотришь, куда содишь! Боекомплект не жалко?

БабУля крутилась за пятерых. Пенсии хватало на полмесяца; вторая половина была экзаменом на выживаемость, повторяемым из раза в раз. Летом она крутилась на участке вместе с Нюшкой, выискивая в зарослях бурьяна что-то съедобное. Сразу за углом у крыльца находилась отвоёванная у дикой природы грядка, которую по силам было вскопать бабУле – с луком и чесноком, – Нюшка до сих пор помнит вкус круто посоленного хлеба с вдавленными в него кусочками чеснока и прикрытого листиком щавеля или листовой горчицы – этакий витаминный бутерброд. А дедУля набрал по углам участка иван-чая, нарезал листья, скрутил да высушил, получился чай первый сорт. ДедУля хранил его в банке, на которой написал: «Вдруг Бонд».

Так и жили. Зимой же бабУля потихоньку, чтоб не видел дедУля, а особенно соседи по переулку, распродала свои тряпки – в основном цыганке Тане: то шаль, то юбку плиссированную, то кофту мохеровую. Вот третьего дня она как раз приготовила Татьяне чудесный отрез саржевой ткани – черной, с диагональным отливом, мечта любой цыганки. Отложила, а утром не смогла встать с постели. Нюшке пришлось бабУле даже переносной унитаз выносить из кладовки, который хранился там на случай морозов или иной непогоды. БабУля пролежала весь день в постели, а ноги так и не отпускают. Нюшка сходила до магазина у станции, где ее знали и дали хлеба и угостили яблоком. Яблоко она принесла бабУле, и оно так и пролежало у нее на стуле у кровати.

Возвращаясь из магазина, Нюшка заметила у мусорных контейнеров два сломанных стула. Это был подарок небес, и она поволокла их домой, моля те же небеса, чтобы в переулке никого из соседей не оказалось. Как назло, из переулка на улицу выезжала машина. Нюшка схоронилась за сугробом. Это был дядя Витёк. Нюшку он, похоже, не заметил. Довольная и усталая, она вернулась домой со стульями. На дедУлю надежды было мало, поэтому Нюшка сама затопила печь. Она умела это делать с незапамятных времен, так что не заморачивалась

по этому поводу. Она спалила первый стул, а на ночь пошел второй, учитывая звездное небо и забористый мороз. Сейчас печь медленно остывала, а дров больше не было.

Находиться в доме было невыносимо, и Нюшка выскочила во двор. Ее деятельная натура жаждала действий. Во дворе лежала калабаха от березы – комлевая часть, массивная с одного конца и раздвоенная с другого. Какое-то время Нюшка с остервенением рубила ее топором, потом перестала. Такой и дедУля не возьмет. Такой дяде Вите по силам. Она обошла двор. Двор был раньше окружен забором, но с тех пор как жизнь похужела, Нюшка с дедУлей отбивали от забора по доске, а то и по две. Теперь забора не было; торчали только столбы, занесенные снегом выше Нюшки высотой. Бензопилы давно в доме не было, а ручной ножовкой Нюшка бы пилила столб до морковкина заговенья. Рядом с въездом на участок росла мощная старая береза, уходящая головой в низкое январское небо. Нюшка любила березу и в свое время отговорила дедУлю пилить ее на дрова. Сейчас она похлопала по ее стволу и пошла дальше. Она прошла до мусорных контейнеров. Ничего. Вернулась, еще побила березовый обрубок топором, бросила. Короткий январский день уже угасал, и она пошла в дом. ДедУля все также сидел на сказке, держа бабУлю за руку. Время от времени он вздыхал и спрашивал:

– Улька, ну ты как?

И бабУля тихим шелестящим голосом отвечала ему:

– Отбегала я свое, Ульяша.

ДедУля на все на это вздыхал протяжно. Слушать это было невыносимо, идти обратно из дома на мороз не хотелось. ДедУля с бабУлей продолжали тихонько переговариваться, а Нюшка пошла в подсобку. Так у них называлась комнатенка рядом с горницей, которая сначала служила кухней, а потом стала просто кладовкой для разного барахла, которое выбросить рука не поднимается.

Нюшка щелкнула выключателем, выпуская на волю свет из пыльной и тусклой лампочки. Здесь у входа был маленький столик с походной газовой плитой, вполне себе исправной, и пузатым баллоном, безнадежно пустым. Здесь стояли трех- и пятилитровые банки, бидоны, ведра, швабры, стертый до прутьев веник и еще один, новый, трогать который было жалко, две почти неиспользованные керосинки, алюминиевый бак, в котором стерилизовали банки и кипятили белье и коробка с импортным пылесосом, на которой очень было удобно сидеть Нюшке, тихой, как мышке. У входа на стене висело мутное зеркало с ровными полосками наискосок. Нюшка боялась в него заглядывать. В стене было окно, заклеенное пожелтевшей от времени пергаментной бумагой. Справа от окна до угла тянулась полка со всякого рода мелочью: банками, бутылками и никому не нужными тубами с мастикой, которую бабУля называла «гэдээрвской» и очень берегла. А слева от окна были приклеены к стене две картинки. На одной лихой носатый дядька в гимнастерке, похожий на дедУлю (а сам дедУля говорил шепотом, что на Сталина), подкручивал ус и подмигивал смотрящим на него. Картинку сопровождали надписи: «Дадим по 100 кг молока с каждой коровы в месяц!» и «Дадим по 400 кг мяса в год!» На второй надменная женщина в берете и взглядом снулого леща, подняв брови и сделав губы куриной гузкой, пыталась понравиться зрителю. Называлась картинка «марлендитрих», а что это значит, Нюшке никто не объяснил. БабУля говорила, что «марлендитрих» похожа на ее мать, прабабушку Нюшки Лидию Сергеевну, и что Нюшка – просто вылитая «марлендитрих», на что Нюшка, пока была маленькой, всегда обижалась и начинала реветь.

Здесь пахло керосином, краской и мастикой, но странным образом эти запахи приглушали мороз. Нюшка посидела на коробке с пылесосом, подняв воротник шубейки и сунув руки в карманы. Деваться некуда – надо идти спать.

Диспозиция по первому этажу.

Горница была просторная, с высокими потолками, непохожая на помещение в бревенчатой избе. Сын Андрей за год до своего злополучного отпуска сделал ремонт справный. Стены были выложены гипроком и оклеены заграничными обоями, пол – шпунтованной доской

(от ламината Андрей отказался – из-за Степана Митрофановича, а Облая тогда еще не было). Потолок же был подвесной, кремового немаркого цвета. Справа от входа – печь, вернее, плита, обложенная шамотом, так что может топиться и дровами, и углем. Под плитой – лист оцинкованного железа, по пожарной безопасности. За плитой стояк, да не простой. Мастер-печник все по уму сделал. Чего ж не сделать, ежели дымоход позволяет? В общем, дым из плиты идет не в стояк, а, как бы это сказать, в лежак кирпичный, метр на два, а уж потом делает обратный поворот и идет по стояку, который образует теплую стенку с лежаком. Ох, и здорово валяться на этом лежаке, когда печь протоплена! У Нюшки с дедУлей всегда войн была, кому лежать. Ну, дедУля вечно проигрывал. А вот Степан Митрофанович, тоже любитель в тепле понежиться, сдаваться не желал и умудрялся занять бОльшую часть лежака.

Плита со стояком отгораживали от комнаты кухонный угол со столиком и настенным шкафом со всякими там тарелками да сахарницами.

В углу перед лежаком-стояком находились кровати дедУли с бабУлей, разделенные сказкой, а на стенке висел плоский телевизор – последний подарок сына Андрея родителям на Новый год. А над сказкой висели настенные часы, которые дедУля заводил каждый вечер, с кряхтением забираясь на сказку.

Рядом с кроватью бабУли стоял комод для белья – старинный, резной, со множеством ящичков и полочек. Верхние два ящичка отводились под документы. Они вечно были забиты разными медицинским анализами и страшными рентгеновскими снимками дедУли, когда он начал кашлять и жаловаться на боль в груди. Нижний ящик был Нюшкин: там хранились всякие ее трусики да маечки, носочки да колготки.

Слева у стены с окном был разостлан по полу ковер, старый, местами вытертый до основы, на котором любил валяться Облай. Сейчас-то он жался поближе к печке, не понимая, почему так холодно.

На ковре стоял стол. Он раздвигался, так что за ним могли усесться человек десять. Но дедУля ценил стол не из-за этого, а из-за того, что он был прочный и основательный и легко мог выдержать гроб с телом дедУли, когда придет пора его похоронить. БабУля при этом начинала плевать и с грохотом передвигать по плите сковородки. Правда, последние года два-три дедУля свои шуточки прекратил.

Слева от стола стояло трюмо, перед которым любила вертеться Нюшка, двигая зеркала так, что в них отражались три Нюшки, и показывала все трем язык одновременно.

А в левом углу за трюмо находилась кровать Нюшки, сделанная дедУлей навыворот. Еще недавно Нюшке казалось, что в кровати можно потеряться, а сейчас было ясно, что еще через пару лет ей надо что-то придумать. Ну, кто ж в наше время думает, что с ним будет через пару лет?

Кровать Нюшки была отгорожена от входной двери шкафом с верхней одеждой дедУли с бабУлей. Сбоку шкафа дедУля привинтил крючок, на котором Нюшка вешала свою шубейку.

Там же стоял маленький электрический обогреватель. Еще один находился между кроватями дедУли с бабУлей. Впрочем, когда бабУля слегла, Нюшка перетащила свой обогреватель поближе к бабУле. Обогреватели были маломощные, грели в основном сами себя, но это было лучше, чем ничего.

Итак, Нюшка погасила свет в подсобке и вернулась в горницу. Надо было погасить свет и лечь, но что-то насторожило ее. Потом она поняла: дедУля стоял над сказкой с откинутой крышкой и что-то доставал из нее. Она подошла поближе и онемела от неожиданности и страха. Неожиданность от того, что льняные саяны, извлеченные из сказки, тягучие, длинные, прохладные в жаркую погоду, сейчас, в стылой, давно нетопленной горнице выглядели дико, как детская соска на шее взрослого человека. А страх от того, что Нюшка поняла: пока она отсутствовала, бабУля просила дедУлю подготовить ей один из саянов, в котором бабУля собиралась

помереть. Саян, обычно самый нарядный и богато украшенный, использовали как *смертное*. Правда, в *смертное* облачали уже после того как покойницу обмоют, но Нюшка догадалась, что бабУля не хочет, чтобы эту работу сделал дедУля: не мужское это дело, а Нюшка для этого слишком мала. Поэтому она решила заранее надеть саян и ждать своего часа.

Все это время Нюшка стояла, сжимая и разжимая кулачки, а потом бесстрашно ринулась вперед.

– ДедУля, миленький, бабУлечка, родненькая, не надо саяна, спрячьте его обратно! – закричала она. – БабУля, ты в такую холодину станешь его надевать? Что ж я, совсем вам чужая – все без меня решаете?

Она кричала, но самое страшное свое оружие в ход не пускала, держала в запасе. Самое страшное – это когда она начинала визжать. Старики перепугались, это было видно, и сейчас пребывали в растерянности. И тогда для верности она топнула ногой.

– Уйду я от вас, – сказала она. – Раз вы такие. Злые и бесчувственные. Вот оденусь и уйду, куда глаза глядят.

ДедУля поглядел на бабУлю. И бабУля сказала слабым голосом, почти прошептала:

– Ладно, внученька. До утра... Погодим.

ДедУля, кряхтя, стал разбирать свою постель. А саян-то, саян, тот самый, в котором бабУля пела на концерте, оставил на сказке, гад такой.

– Будем спать со светом, – решила Нюшка и направилась к своей кровати.

– Гаси, – тихо прошелестела бабУля. – Слово тебе дано.

И тогда Нюшка погасила свет и тоже легла.

3.

Лежать в своей постели под одеялом в верхней одежде было непривычно. Холод проникал под одеяло и начинал покусывать пальцы ног и рук. Нюшка задвигала под одеялом руками и ногами, а также головой в разные стороны, чтобы согреться. Потом она представила, как выглядит со стороны и захихикала.

В горнице было темно, но не совсем. Свет фонаря, поставленного в самом начале переулка, не долетал даже, а доползал до окна их дома умирающим зверенышем и сворачивался в клубок в кухонном углу за стояком. Если приглядеться, то можно разглядеть силуэты печки, стояка и мебели.

Время от времени в переулок сворачивала машина, и свет ее фар на мгновение освещал сполохом горницу и так же быстро превращался в мелькание светлых и темных полос на потолке.

Неизвестно, сколько она так пролежала: час или полночи, – сон так и не шел. Лежать без движения оказалось еще холоднее, чем ходить. Ее деятельная натура требовала какого-то полезного дела.

Нюшка приподнялась в постели на локтях, и в этот момент в сенях протяжно заскрипела входная дверь.

Нюшка застыла без движения. Воры, подумала она, цыгане. Да нет, за цыганями такого не бывает: у своих по соседству они не промышляют.

Мучительно долго ничего не происходило, а потом горницу стало заполнять невыносимое зловоние, как будто в дом внесли издохшую две недели назад свинью. Когда вонь стала страшной, сквозь дверь из горницы в сени стало просачиваться нечто бесплотное, вроде болотного, грязно-зеленого, слабо мерцающего дыма. Действия его были основательны и неторопливы: из зеленого мерцания вытягивались во все стороны тонкие щупальца, которые тут же пропадали, а рядом вырастали новые, и зеленое клубящееся нечто с каким-то чмоканием, бульканьем и чавканьем вспухало еще больше, постепенно заполняя горницу.

И Нюшка своим маленьким пониманием рано повзрослевшего ребенка поняла: это не Зло, противоположность Добра, потому что и то, и другое есть всего-навсего отношение человека к происходящему. Сейчас же перед ней была безликая и бездушная противоположность Блага – великое *Худо*, как олицетворение всех последних несчастий в доме.

И тогда она завизжала. Не так, как пару раз до этого, сдерживая себя из чувства жалости к окружающим. Она просто открыла шлюзы переполняющего ее страха пополам с гневом и без остатка отдалась привольному течению собственного визга.

Одновременно с ней яростно залаял из-под бабУлиной кровати Облай. Лаял он смешно и странно: при каждом взлае на высокой визгливой ноте храбро выскакивал из-под кровати на шаг, а потом с нисходящим басовитым воем уползал обратно под кровать.

Потом к ним присоединился вой Степена Митрофановича, напоминающий нисходящий звук пикирующего на цель бомбардировщика. Сначала он выл под бабУлиным одеялом, а потом – Нюшка догадалась по звуку – выскочил из-под одеяла на кровать.

И кричал вместе с ними что-то невразумительное дедУля, отвернув к потолку лицо со слезящимися глазами и раззявив беззубый рот с розовыми катышками десен. Нюшка ясно представила это в темноте, потому что дедУля не раз хохотал, вот так же запрокинув к потолку голову и разинув рот.

И даже бабУля, в молодости комсомолка и активистка борьбы с поповщиной, бормотала что-то засевшее у нее в памяти, что-то вроде «иже еси» и «даждь нам днесь».

И в довершение всего в отдалении бабахнул ружейный выстрел.

И великое это *Худо* замерло на мгновение, а потом стало втягивать в себя ложноножки и втягиваться обратно в щели двери. Звякнуло ведро в сенях, проскрипела входная дверь, и наступила тишина, как будто ничего и не было.

Нюшка на негнущихся ногах прошла к выключателю и зажгла плафон. Потом схватила хлебный нож с кухонного стола и прошла в сени, вернулась, вернула нож на место и вернулась в сени. Слышно было, как звякнул в ее руке поднятый с пола топор и скрипнула дверь, когда она вышла во двор.

Во дворе занимался тусклый январский рассвет. Мороз стиснул ее со всех сторон. Она огляделась. Так же валялась раздвоенная калабаха, так же высились у столбов сугробы.

Нюшка с остервенением всадила топор в калабаху раз, другой, третий. Топор увяз в древесине. Нюшка выпрямилась. Что-то щемило внутри, но она запретила себе плакать.

А потом сзади нее заскрипел снег под чьими-то тяжелыми шагами. Нюшка обернулась. Громадная черная фигура надвигалась на нее, вырастая с каждым шагом и заполняя все небо. Фигура остановилась перед ней.

– Нюшка, – сказала она, – у вас все в порядке?

Это был дядя Витёк, одетый в теплый косматый малахай, в каком ходят зимой охотники или рыбаки на налима в ночную рыбалку.

У нее не было сил отвечать. Язык словно примерз к гортани.

Дядя Витёк сел перед ней на корточки.

– Ну, что ты, девушка – сказал он. – Совсем худо?

И тогда Нюшка бросилась в меховые складки его малахая и, борясь с душившими ее слезами, выпалила ему все. Ее словно прорвало. Так долго без остановки она не говорила никогда.

Дядя Витёк отодвинул ее от себя и поднялся.

– Так, – сказал он. – Ты, Нюшка, жди, я сейчас. Поняла? Я сейчас, туда и обратно. Поняла?

И он быстро пошел, почти побежал со двора.

Нюшка вернулась в дом. ДедУля все так же сидел на сказке, держа бабУлю за руку. Степан Мирофанович высунул из-под одеяла ухо и один глаз. И только Облай не бросился, как обычно,

ей навстречу со звонким лаем, а выполз из-под кровати, попытался подойти к Нюшке, но рапы его подогнулись, и он завалился на бок.

– Облаюшка! – испугалась Нюшка.

Облай попытался ползти в кухонный угол, где у него стояла миска с водой. Нюшка пошла за миской. Вода в ней покрылась тонкой ажурной паутинкой льда с белыми прожилками. Нюшка раздавила пальцами лед и поставила миску перед Облаем.

– Пей, Облаюшка, пей, – сказала Нюшка. – Хороший Облай, самый лучший в мире.

Облай постучал хвостом по полу в знак того, что слышит Нюшку и одобряет ее слова. Она погладила его. Храбрый бесстрашный пес был холоден, как лед в миске водой. Нюшка взяла его на колени. В холодном собачьем тельце отчаянно колотилась сердце, как у зажатого в кулаке воробья. Нюшка положила Облая в свою постель и решительно двинулась к Степану Митрофановичу.

– Друг ты или не друг? – сказала она ему строго. – Ну, и помоги ему, раз друг.

Она обложила маленького Облая гигантским Степаном Митрофановичем, как тюфяком. Кот не противился. Наоборот, он завел свою негромкую умиротворяющую песню, а Облай положил ему голову на задние лапы и вздохнул.

Долго что-то. Нет, не придет. Нюшка представила, как рослая и дородная тетя Ангелина, жена дяди Витька, недовольная, гремит у себя на кухне сковородками.

– Связался с нищесборщиками! – говорит она. – Если тебе я не нужна, о сыне хотя бы подумай!

А потом представила, как сын дяди Витька, Васёк, подбегает к отцу и хватается за колени.

– Папа, папа! – плачет он. – Не ходи туда!

Нюшка оставила кота и собаку и снова вышла во двор.

Нет, ждать уже нет смысла. Совсем рассвело и тропа просматривалась до бывшего картофельного поля.

Она подошла к калабахе и, закусив губу, стала выдергивать из нее застрявший топор.

А потом она услышала скрип колес. Потом еще, ближе.

На тропе показалась нестрашная уже фигура дяди Витька. Дядя Витёк толкал здоровенную алюминиевую тачку, дотолкал ее до Нюшки и остановился, утирая пот с лица.

– Ну, девка! – прохрипел он. – Загадала ты задачку! Держи!

И он вручил ей пакет с чем-то тяжелым. Она быстро вбежала в дом, с грохотом положила пакет на кухонный стол и вернулась обратно.

Потому что в тачке было кое-что намного более интересное. На самом верху лежали сухие сосновые чурочки и кусок бересты для растопки. А вся тачка была полна угля – крупного, просеянного, с два ее Нюшкиных кулачка.

– Ведро есть под уголь? – спросил дядя Витёк и с грохотом высыпал тачку за углом под навесом, где была мастерская дедУли. – Отсюда брать будешь. Растопить-то сама сможешь?

Он снова вытер потное лицо.

– Пст! – сказала презрительно Нюшка и побежала с растопкой в дом. Она боялась остановиться, потому что ноги могли отказать ей – впервые за недолгую ее жизнь.

ДедУля стоял у кухонного стола, рассматривая вынутые из пакета лимон, пачку чая, шмат сала, пяток картофелин и кусок мяса с косточкой, так что хватило бы и на суп, и на второе, и Облая со Степаном Митрофановичем досталось бы.

– ДедУля, ничего не трогай! – крикнула Нюшка, чиркая спичкой. – Я все сделаю!

Береста занялась, а за нею затрещали сосновые чурки. Нюшка снова вышла во двор с ведром.

Дядя Витёк что-то говорил по мобильнику. Закончив разговор, он повернулся к Нюшке.

– Звонил знакомому поставщику – сказал он. – Парень надежный, обещал в течение часа привезти. Вам до весны три тонны хватит?

Нюшка с трудом поняла, что дядя Витёк говорит об угле. Три тонны. – это сколько?

– Да, – сказала она. – Да, конечно, хватит.

– И мы подгребем, – сказал дядя Витёк. – Не бойсь, деваха!

– Я не боюсь, – вырвалось у Нюшки.

Дядя Витёк посмотрел на нее сверху вниз. И тут Нюшка не выдержала.

– Дядя Витёк, – сказала она. – Ты бог? Или ты из сказки?

Дядя Витёк опять присел перед ней на корточки.

– Нет, сказал он серьезно. – Я не бог. И не из сказки. А вот у тебя, Анна Андреевна, сердце огромное, хоть ты сама еще под стол пешком ходишь.

– Я не хожу, – сказала Нюшка. – Я выросла.

– Ух ты, – сказал дядя Витёк и потрепал ее по щеке.

А потом поднялся.

– Ладно, – сказал он. – Жди машину.

Он ушел.

Нюшка вернулась в дом, подбросила уголька в печку. Печь гудела, как идущий на взлет истребитель. Печка жарила вовсю, хотя еще темнели противные пятна сырости по углам.

ДедУля сварганил чаю с лимоном, порезал сало. Всем досталось, даже Степану Митрофановичу с Облаем. Облай уже лежал на привычном месте под кроватью, хотя и не лаял.

БабУля маленькими птичьими глотками отпивала чай с лимоном.

Нюшка с удовлетворением отметила, что саяна рядом с ней уже нет.

Сало каждый ел по-своему. ДедУля откусывал от сала маленький кусочек, как раз по зубам, и жевал его, пока жевалось. Потом, когда сало истаивало во рту, на лице его появлялось выражение изумления пополам с детской обидой. БабУля облизывала кусочек сала и обсасывала, как эскимо, со всех сторон, не теряя головы и с чувством собственного достоинства. Степан Митрофанович положил кусочек перед собой между лап и разглядывал его, склоняя голову то влево, то вправо, как художник, примеряющийся к обнаженной натурщице. Время от времени он обнюхивал кусочек, чтобы убедиться, что сало никуда не делось, и продолжал эстетствовать. Облай же поступил проще всех: он мгновенно проглотил причитающийся ему кусочек и теперь глядел на всех черными маслинами глаз и стучал хвостом по полу, словно говоря: «Ребята, без обиды. Бог дал, я съел». Чувствовал он себя превосходно и, судя по всему, продолжал неколебимо верить в своего собачьего бога.

В шубейке находиться в доме становилось по-настоящему жарко. ДедУля предложил Нюшке сала, она отказалась, пощупала мясо на кухонном столе: пусть себе размораживается. Этот день, начавшийся таким чудесным образом, еще продолжался.

Степан Митрофанович поднял голову. Следом твякнул Облай, а потом и Нюшка услышала звук мотора грузовика. Она выскочила из дома в тот момент, когда «КамАЗ» задом, приминая сугробы, подъехал к столбам ограды. За ним показалась уже привычная и совсем нестрашная фигура дяди Витька. Дядя Витёк махнул рукой, грузовик остановился. Только сейчас Нюшка заметила за грузовиком группу людей. Здесь были Писатель и дядя Автандил, пара цыган из соседнего дома, а также тетя Ангелина, жена дяди Витька, с сумками на руках. Отсутствовали только дядя Олег, обладатель неисправного «Мерседеса» – жена объяснила, что гриппует – неприметный дачник из города (он приезжал только на лето) и алкаш из первого дома по переулку – ну, с ним все ясно.

Нюшка провела тетю Ангелину в дом, где та, сняв куртку и платок с головы, сразу стала хлопотать в кухонном углу и греметь кастрюлями и сковородками. Нюшка невольно улыбнулась, вспомнив свое недавнее видение. Она поспешила обратно на улицу. Водитель уже поднимал кузов, и черная угольная масса с грохотом высыпалась на землю. Дядя Витёк рассчитался

с водителем, и тот, опустив кузов, укатил. К дяде Витьку подошли цыгане и стали просить отпустить их домой одеться потеплее. А и правда – мороз стоял трескучий – Нюшка такого и не помнила. Небо прояснело, и над всей этой скованной морозом землей высился лазоревый, обещающий чудеса невесомый купол.

– Пятнадцать минут даю, Графо, – сказал цыганам дядя Витёк. – Ты меня знаешь: не придете, из-под земли достану.

Цыгане побежали через картофельное поле к себе. Теперь, когда здесь прошел грузовик, бежать по колее было значительно легче.

Писатель затеял с дядей Автандилом спор на тему, возможна ли документальная проза в постмодернистском стиле. К сожалению, дядя Витёк прервал их спор.

– Не знаю, как там документальная проза, – сказал он им страшно, – но эпитафия точно возможна.

Он вручил им совковые лопаты. Они должны были нагружать тачку дяди Витька, а дядя Витёк отводил уголь под навес за угол дома. После трех тачек они должны были меняться местами, чтобы не устать и не замерзнуть.

Подошли цыгане, одетые как немцы под Сталинградом, в какие-то башлыки, ушанки и пуховые платки. Сейчас работать стало гораздо легче: цыгане встали насыпать тачку, Писатель с дядей Автандилом – возить тачку, а дядя Витёк собирал лопатой кучу под навесом повыше и покомпактнее.

Писатель с дядей Автандилом продолжали разговаривать и спорить. Писатель так и сказал дяде Витьку:

– Милый мой, ты можешь расстрелять меня, но учти, что я буду артикулировать расстрел до последней минуты. Что поделать – интеллигент вшивый.

Цыгане вошли в раж, поймали общий ритм и вскоре стали скидывать с себя башлыки и пуховые платки.

– Графо, – хищно улыбался дядя Витёк, – Дарвин случайно не твой дядя?

Цыгане улыбались белоснежными улыбками на смуглых лицах, не понимая.

Дядя Витёк бросил лопату:

– Перекур!

Цыгане загалдели, снова натягивая на себя платки.

Писатель с дядей Автандилом продолжали разговор.

– Милый мой, – говорил Писатель, – вы такой же писатель, как я. Вам так же, как и мне, присуще особое отношение к слову. Вы чем занимаетесь?

– Работаю в маленькой производственной фирме.

– Э! – поморщился Писатель и махнул рукой. – Это для семьи, для куска хлеба. А для себя? Для души?

– Я блогер на «Эхе Москвы», – виновато сказал дядя Автандил, – и веду колонку в районной газете.

– Да мы с тобой одной крови! – захохотал Писатель.

– Нюшка, ты какие-нибудь стихи знаешь? – спросил дядя Витёк. – А то почитай, будет приятно.

И Нюшка, оглянувшись на березу, розовую в лучах утреннего солнца, продекламовала, старательно проговаривая слова:

Белая береза под моим окном

Принакрылась снегом, словно серебром...

– Девочка, откуда ты Есенина знаешь? – спросил Писатель.

– И при этом почему в школу не ходишь? – добавил дядя Автандил.

– Ты поэтому нам не дала эту березу спилить? – спросил дядя Витёк.

– Разве она не красавица? – кивнула Нюшка.

– Красавица, – согласился дядя Витёк. – В нашем переулке другой такой нет.

В это время появился вечно пьяный сосед из первого дома по переулку. Сейчас он был не пьяный. Про таких в народе говорят: дунувши. Он суетливо пытался всем помочь, переходил от одной бригады к другой, потом нашел себе занятие – куском ДСП прикрыл рассохшиеся дверцы оголовка колодца. И то правильно: чтобы вода в колодце не замерзла.

Дядя Витёк поднялся.

– Ну что, ребятушки, погнали наши городских. Немного осталось, уж извиняйте.

Работа возобновилась.

Нюшка пошла в дом.

В горнице вкусно пахло только что приготовленной едой. Тетя Ангелина расстаралась: на первое у нее вышли свежие щи с мясом, на второе – тушеная с мясом картошка, а на третье – компот из сухофруктов. Она переставляла в кухонном шкафу баночки с какими-то корешочками, дедУлин «Вдруг Бонд». Лицо у нее было омертвелое. Потом она села у стола, продолжая слушать бабУлю, закрыв пол-лица концом фартука.

– Тетя Ангелина, – спросила озадаченная Нюшка, – ты, что ли, плачешь?

– Нет, деточка, нет, милая, – испугалась тетя Ангелина. – Просто соринка в глаз попала, деточка моя хорошая!

В сенях хлопнула дверь, раздался зычный голос дяди Витька:

– Эй, Геля, тебе хозяева не надоели?

– Иду я, иду! – отозвалась тетя Ангелина и высморкалась в платок, извлеченный из кармана. – Нетерпеливый какой, – добавила она вполголоса.

– Мужик, – с удовольствием сказала бабУля.

Нюшка снова вышла во двор. Работа была сделана; у въезда на участок темнел круг на снегу, где только что находилась угольная куча, теперь надежно упрятанная под навес.

Вдалеке шли по картофельному полю Писатель с дядей Автандилом и продолжали о чем-то увлеченно разговаривать.

Вышла тетя Ангелина. Стали прощаться. Нюшка не любила эти приветствия-прощания, когда нужно показывать бОльшую приветливость, чем та, которая была для нее естественна. Тетя Ангелина обещала заглядывать к ним раз в неделю. Наконец, двинулись в путь: дядя Витёк впереди, толкая телегу, а за ним – тетя Ангелина.

Цыгане еще были здесь, укрывали кучу угля под навесом куском полиэтилена. Алкоголик из первого дома крутился тут же, все ходил вокруг колодца, любовался своей работой.

Нюшка подошла к березе. Заиндевевшие ветки светились в лучах солнца, которое перестало быть по-утреннему красным, а стало бело-глазам-больно-желтым. Уходя в безоблачное синее небо, береза светилась, как гигантская хрустальная люстра.

Нюшка хлопнула по стволу рукой. В воздухе заплясали разноцветные искры. Их становилось все больше, наконец, вся береза от макушки до комля окуталась облаком сверкающих на солнце блесток.

Нюшка подбоченилась и громко, уже никого не стесняясь, прокричала:

*А заря, лениво обходя кругом,
Обсыпает ветви новым серебром!*

– Ишь ты! – сказал чей-то голос.

Нюшка прикусила язык.

Во двор вошел мужчина в милицейском полушубке, валенках, шапке-ушанке и теплых рукавицах на руках. Нюшка его смутно помнила. Это был начальник поселковой полиции Мамочкин Михал Михалыч.

– Здравствуйте, – сказала Нюшка, чтобы побороть смущение. – Заходите в дом.

– Зайду, не сумлевайся, – сказал Михал Михалыч. – Вот проведу беседу и зайду.

Он прошелся по двору, заглянул за угол, под навес, где цыгане заканчивали работу. Подошел к одному из них, зачем-то достал фонарик из кармана полушубка.

– Лобанов Евграф, – сказал он, осветив фонариком тому в лицо и перешел ко второму. – Васильев Николай, – он выждал паузу. – Ориентировок на вас, к сожалению, не поступало. Так что бывайте здоровы, гости дорогие.

Цыгане споро двинулись к себе. Сосед-алкоголик увязался с ними.

– Скажите, – не утерпела Нюшка, – а фонариком в лицо зачем? Вон какое солнце!

– Это для острастки, – засмеялся Михал Михалыч. – Когда тебе фонариком в лицо светят, это, брат, и на папу римского подействует.

Нюшка открыла ему входную дверь. Михал Михалыч вошел в сени, споткнулся о ведро с водой, поставленное несообразительным соседом-алкашом, и вошел в жарко натопленную горницу.

– Нюшка, давай за стол! – скомандовал дедУля, потом увидел входящего и осекся. – Михал Михалыч, какими судьбами? Садись, исть будем.

– Спасибо, сыт, – ответил Михал Михалыч, сел за стол, положил перед собой шапку и расстегнул верхний крючок полушубка.

– Давно не заходил, – дипломатично сказал дедУля.

– Дела.

– Понятно.

– Как здоровье, Ульян Захарыч? Ульяна Никитична?

– Слушай, Михал Михалыч, – сказал дедУля, – Не девку уламываешь. Ты же пришел не о здоровье балакать, я же вижу. Начинай сразу, без предисловья.

Михал Михалыч подвинул стул в сторону стариков.

– Я только из города. Добились мы все-таки своего, – сказал он. – Губернатор вчера подписал постановление об учреждении ежегодной премии имени Андрея Лукьянова. Она будет вручаться лучшему полицейскому. Сначала попробуют в районе. Пойдет – внедрят в области. А там, глядишь, и всероссийской станет.

Он помолчал. Все сидели тихо, не шелохнувшись. Потом Михал Михалыч встал по стойке «смирно» и казенным тоном сказал:

– Первую премию единогласно решено присудить родителям Андрея Лукьянова, – он полез в нагрудный карман полушубка и положил на стол конверт. – Вот. Пятьдесят тысяч рублей. Негусто, но, как говорится, деньги не главное.

Он взял шапку.

– Пошел я, служба, – сказал он. – Я очень рад, вы не представляете как.

– Михалыч, – сказал дедУля. – Твои-то дела как?

Михал Михалыч помолчал.

– Съели меня, – сказал он негромко. – Сдаю дела. Потому и рад, что с премией Андрея успел.

– Что ты говоришь? – сказал дедУля. – А кто вместо тебя?

Михал Михалыч махнул рукой и рассмеялся.

– Узнаете, – сказал он. – За глаза слова худого не скажу. Человек как человек. Нерусский только. Ну, прощайте.

Он надел шапку и вышел. В сенях звякнуло ведро, хлопнула входная дверь. Наступило молчание.

4.

Нюшка вышла следом за Михал Михалычем, но не во двор. Береза с утра была такая красивая, а сейчас уже за полночь, набежали тучки, она видела в окно, и береза уже не сказочная, а обыкновенная. А в горнице жарко, не продохнуть. Старикам-то хорошо кости погреть. Пусть их. Так что она вышла в сени и стала подниматься по лестнице. Облай шмыгнул в дверь за ней следом. Ему тоже было жарко. Удивительное это было создание, с сердцем героя и размером с кроссовку. Он категорически не умел сидеть неподвижно и двигаться размеренно и с достоинством. И, хотя после пережитого он двигался с трудом, сейчас он, отчаянно работая лапами и смешно виляя задом, старался не отстать от Нюшки, идущей по лестнице на второй этаж.

Диспозиция по второму этажу.

Строго говоря, это был не второй этаж, а хорошо утепленный чердак, или мансарда. Сын Андрей, закончив ремонт, с гордостью говорил приятелям, что зимой наверху можно зажечь свечу, и тепла от нее хватит, чтобы нормально жить.

Мансарда эта в плане представляла собой крест, с окнами на всех концах креста, с короткой и толстой и длинной и узкой поперечинами. В узкой поперечине у окна была лестница, откуда за дверью был коридор, ведущий через широкую поперечину, с помещениями по обе стороны. Справа, куда выходил дымоход от печки, находилась спальня с двумя кроватями, двумя шкафами и детской кроваткой в углу. ДедУля в свое время спустил ее вниз, и в ней спала Нюшка, пока не выросла. Тогда ее вернули на место, а дедУля смастерил Нюшке новую кровать, нынешнюю. Здесь вообще все вещи стояли на своих местах: ночник у изголовья папиной постели, туалетный столик с зеркалом у маминой. С одной стороны комнаты был побеленный дымоход, проходящий через крышу наверх, с другой, маминой, стоял обогреватель.

Слева по коридору были три комнатенки: что-то наподобие уборной, с отхожим ведром и дачным умывальником, которым никто, кроме мамы, не пользовался. Это справа от окна. Слева от окна была маленькая комнатенка с книжным шкафом и полками, уставленными книгами: Пушкин-Лермонтов, Маяковский-Есенин, ну, и так далее. Было несколько детективов в ярких обложках. Здесь было темно, потому что мама говорила, что книги выцветают и желтеют на солнце. Так объясняла Нюшке бабУля, потому что сама Нюшка ничего этого не помнила.

А центральная дверь слева по коридору вела в комнату, которая считалась кабинетом для того из родителей, кому надо было уединиться, чтобы *поработать*. Там стоял стол с ноутбуком и простеньким принтером. Поскольку папе, кроме служебных записок и рапортов, ничего писать не приходилось, кабинет в основном использовала мама для своих анкет и читательских карточек.

Коридор вел в отдельную комнату прямо, на конце короткой крестовины, которая предназначалась Нюшке, когда она подрастет. А пока папа использовал ее как склад для самых ценных инструментов: электролобзика, электрорубанка, шуруповерта, дрели и прочего. Сейчас-то почти ничего из этого не осталась, но комната – вот она.

Была еще одна вещь, которая не стала экспонатом в этом музее – мобильный телефон. Был у папы второй мобильник, запасной, который он, уезжая, со смехом отдал отцу:

– Следи за ним – вдруг да позвоню. Твой-то старый, батя, давно сменить пора. Вот вернись, и забирай этот. Сим-карту поменяю, и пользуйся.

ДедУля держал с тех пор телефон постоянно при себе, заряжал, вносил плату за него. Свой старенький забросил, а этот берег, следил за ним, подолгу крутил в руках, рассматривая. Хотя, подумать, что здесь такого? Был человек, сейчас его нет, а вещь его осталась. Зачем из этого устраивать проблему?

В общем, не любила Нюшка из-за этого второй этаж. Не то чтобы не любила, а оставалась равнодушной к родительской мебели, одежде, вещам. Родителей она не помнила вовсе, всю

жизнь с ней были бабУля с дедУлей, а папа с мамой были такими же плавающими в тумане понятиями, как родина, или гуманизм, или прогресс.

Хотя ко второму этажу это не имеет отношения.

Нюшка пошла вниз. Облай следом. Он тоже не любил бывать наверху. Людей здесь нет, котов тоже. Гонять под кроватями катышки пыли – щенячья радость, недостойная взрослого и солидного пса.

В горнице было по-прежнему жарко. БабУля забралась на лежак и сейчас млела на горячих кирпичках, грея старые кости. Степан Митрофанович всячески мешал ей, распластавшись от стенки до края и раскинув в стороны лапы и хвост. Сдвинуть его с места можно было только через смертоубийство.

ДедУля сидел за столом, выскребая из тарелки остатки картошки с мясом, потом облизал ложку. Покосился на телефон рядом на столе у окна.

– Нюшка, ты одна не поела. Заполни! Садись, поешь сейчас же!

– Потом.

– Потом будет компот, – сострил дедУля. – Картошка с мясом – ух, вкусотишша!

– А вот компота я попою, – решила Нюшка и подошла к холодильнику, достала кастрюлю с компотом и половником налила себе желто-коричневой жидкости в кружку. Компот оказался вкусным – не приторным, а с легкой кислинкой, как хорошо замаскированная шутка в разговоре.

– Завтра же с Витьком рассчитаться надо, – сказала бабУля.

– Это всенепременно, – отозвался дедУля.

БабУля убрала конверт в верхний ящик комода.

– Картоха удивительная, – рассуждал тем временем дедУля. – Сама белая – вон очистки в ведре, а мясо желтое. Кубинская, поди.

– С них станется, – поддакнула бабУля, и непонятно было, осуждает она «их» или восхищается.

– Улька, а знаешь, почему у кубинской картохи мясо желтое? – невзначай спросил дедУля.

– И-и, слушать даже не хочу, – отмахнулась бабУля. – У тебя одни глупости в голове.

– Ульк, я серьезно, – сказал дедУля и подмигнул Нюшке. – На Кубе один песок, удобренный в земле не хватат. И жарко – у-у! В январе ночью, как у нас в июле днем! А кубинским девкам тоже потискаться хочется.

– Ульян!

– Да подожди ты, я не про девок. Вот, значит, идут они ночью с парнями гулять. Жара, духота. Ну, парни потискают девок, а потом отойдут в сторонку и на картоху снут.

– Ульян Захарович! – повысила голос бабУля. – Что ж ты при девке-то, а?

ДедУля состроил невинное лицо.

– А что, девки иначе устроены? – спросил он. – Не снут?

– Она ж еще ребенок!

– Понял, – согласился дедУля. – Писают лимонадом и какают шоколадом.

– Тьфу! – бабУля заворочалась на горячих кирпичках.

Нюшка слушала вполуха. Ей было покойно. Давняя примета: если дедУля с бабУлей ругаются, значит, все живы и здоровы и все хорошо.

Толстая свинцовая оболочка, накрывающая ее с головой, медленно сползала с нее.

– Слышите, девчонки, – вдруг сказал дедУля каким-то чужим, незнакомым голосом, – а кто это к нам приходил?

– Ты что, Михал Михалыча не знаешь? – удивилась бабУля. – Андреев начальник.

– Да я не о том, – отмахнулся дедУля. – Ночью-то? Али забыли?

– Ничего я не скажу, – отрезала бабУля. – Режь меня, а слова не услышишь.

Она хлопнула себя по губам и для верности прикрыла ее сверху второй ладонью.

– Ты-то как считаешь? – спросила Нюшка.

Она злилась на себя, потому что вспоминать ночную историю ей было страшно.

ДедУля помолчал.

– Смерть это была, вот так, – потом сказал он и оживился. – Не видали, что ль? Высокая, в дверь не войти, в саване, как полагается, с косой. Коса за дверную коробку зацепилась, ух, страсть!

– Что ты сочиняешь, дедУля? – возмутилась Нюшка. – Саван, коса... Повторяешь старческие бредни.

От такого наглого дедУлиного вранья ей уже не было так страшно.

– Ты что, своему деду не веришь? – взвился дедУля. – Говорю, смерть! Вошла и косой как махнет! Вон на трубе отметина.

И дедУля торжествуя показал отметину на дымоходе под самым потолком.

Отметина эта, насколько помнила Нюшка, была здесь при ней всегда, сколько она себя помнила.

– И ведь потом отступила, – покачал дедУля головой. – Чего, спрашивается? Мы ведь все лежали перед ней готовенькие.

– Вот кто нас спас, – Нюшка наклонилась к Облаю и погладила его. – Как он залаял!

А кто это у нас визжал? – строго спросил дедУля.

– Ну, я немножко, – потупилась Нюшка.

– «Немножко», – передразнил дедУля. – Когда в следующий раз смертушка придет, ты, Нюшка, не визжи, ладно? Лучше уж она, окаянная, чем твой визг выслушивать!

Нюшка посмотрела на бабУлю. Та сидела, уронив руки с узловатыми пальцами на колени, и смотрела на Нюшку и дедУлю просто и строго, как бы и неотсюда.

Нюшке стало не по себе, и она встала.

5.

И в этот момент зазвонил телефон на столе рядом с дедУлей.

Сына.

Андрюши.

ДедУля водил ложкой по пустой тарелке, впад в совершеннейшую прострацию. А телефон продолжал надрываться.

Тогда Нюшка подошла к столу, взяла телефон и нажала зеленую кнопку с изображением телефона.

– Слушаю вас, – сказала она.

– С вами сейчас будет говорить Всеволод Вячеславович, – сказал женский голос.

– А Всеволод Вячеславович – это кто? – простодушно спросила Нюшка.

ДедУля сел напротив нее на стул. Рядом пристроилась бабУля, запахнувшись в халат.

Мобильник недовольно хрюкнул.

– Всеволод Вячеславович Аристов – глава администрации, – сказал женский голос.

Нюшка вспомнила. Это был начальник, которого все называли Аистом.

– Слушаю, – сказала Нюшка в трубку.

После паузы в мобильнике послышался мужской голос:

– Судя по голосу, я догадался, с кем говорю. Если я не ошибаюсь, Анна Андреевна Лукьянова, внучка Ульяна Захаровича. Я прав?

– Да, – сказала Нюшка.

– Здравствуй, Анечка. Как дела? Дедушка дома? Я могу с ним поговорить?

– Да, – снова сказала Нюшка и передала мобильник дедУле, который, вроде, отошел от потрясения и взял себя в руки.

– Слушаю, – сказал дедУля в трубку.

– Ульян Захарыч, Всеволод Вячеславич, привет, как дела? С трудом до вас дозвонился, знаете ли. Все телефоны отключены или вне зоны действия. Вот этот мне продиктовал Мамочкин Михал Михалыч, и надо же – в точку.

– Слушаю, – снова сказал дедУля.

Нет, все-таки он был силен, старый мошенник! Нюшка поразилась, как ловко вставил он в простое слово раздражение от разговора и желание поскорее его закончить.

– Ульян Захарович, вы же понимаете, о чем я, – донеслось из мобильного. – Я принимаю дела и вижу, что Ульян Захарович Лукьянов не получил причитающуюся ему компенсацию за сына и невестку. Я понимаю – горе и так далее, но сколько времени уже прошло!

– Я слушаю вас, – снова повторил дедУля.

– В общем, когда вы сможете приехать к нам, чтобы получить эту компенсацию? Завтра?

ДедУля, прижав трубку к груди, посмотрел на бабУлю.

– Нет, – сказал он. – Да... Давайте послезавтра.

– Часам к двенадцати вас устроит?

– Да, – сказал дедУля.

– Вот и ладно. Жду вас послезавтра к двенадцати часам, – сказал Аист. – Не забудьте взять с собой паспорт. Да, и еще два слова, чуть не забыл, – добавил он.

– Слушаю вас, – в третий раз сказал дедУля.

– Я по поводу вашей внучки Анечки. То, что она не ходит в школу, форменное безобразие. У нас каждый имеет право на образование. Но я не об этом. К нам в администрацию приходила прежняя заведующая библиотекой Милица Федоровна. Она говорила, что весь коллектив библиотеки занимался с Анечкой математикой и языком. Она уверяет, что Анечка готова ко второму классу.

Аист помолчал немного.

– Слушаю вас, слушаю, – снова повторил дедУля.

Нюшка понимала его. Она сама обалдела от таких слов.

– Сейчас ей девять? Восемь? Ну, вот. Никто не мешает ей продолжить учебу со второго класса, верно? И чем раньше, тем лучше. Хоть с завтрашнего дня. Я звонил в школу, там ее ждут. Ну, вот. Напоминаю вам, что жду вас послезавтра. Детей в этом году много, и класс пришлось разделить на два: А и Б. Пусть идет туда, где ей комфортно. До свиданья.

Нюшка вспомнила мучнистого бзденьша, который прятался от нее в мужском туалете. Два класса? Поглядим.

ДедУля тем временем долго крутил в руках мобильник и тыкал в него пальцами, пока Нюшка не пришла ему на помощь и не нажала красную кнопку мобильного с зачеркнутым изображением телефона. ДедУля взял у нее мобильник и бережно отложил на стол поближе к окну. БабУля под села к нему поближе, погладила по голове. ДедУля перехватил ее руку.

– Улька, – тихо и жалобно сказал он.

– Ульяшенька, – отозвалась она.

Через какое-то время дедУля снова позвал:

– Улька...

– Ульяшенька, – снова отозвалась бабУля.

Нюшка встала и пошла из горницы. Ей вдруг стало трудно дышать. На мороз идти не хотелось. В родительский музей тоже. Она вошла в подсобку, щелкнула выключателем, засветив тусклую лампочку, окидывая отсутствующим взглядом полки с банками и бутылками, зеркало, «Дадим 100 кг молока с каждой коровы!» и «марлендитрих» со злым выражением лица.

Нюшка не глядя села на коробку из-под китайского пылесоса.

Непомерная тяжесть наконец отпустила ее, свинцовой коростой свалившись к ногам.

Нюшка закрыла глаза и со вздохом облегчения отдалась сладостному, пронизывающему все ее существо и беззвучному реву.

Лазерный уровень

Светлой памяти Эльдара Рязанова.

1.

– Слышь, Витёк, – сказала Ангелина от своей грядки с рябчиками, – новость слышал?

– Пап, – крикнул с крыльца Васёк, – дай тысячу на флешку!

Витёк, грузный медлительный мужик лет сорока пяти, кончил приколачивать пропиленовую ленту к обтянутой пленкой теплице.

– Не ругайся, – сказал он сыну. – Флешка, понимаешь. Хотелка не выросла.

Спустился с лестницы.

Потом жене:

– Ну?

– Писатель помер.

Витёк зачем-то оглянулся на соседский дом за забором, подумал и пошел, переступая кирзачами через вскопанные грядки. Подошел к ручной лопате, повешенному на боку крыльца, клацнул металлическим соском. Ангелина спохватилась, метнулась к колодцу, вернулась с полным ведром.

– Иди ты, – Витёк подставил руки под ведро. – Я ж на Пасху с ним разговаривал.

– А вот, – закивала Ангелина, – третьего дня полез на ясень перед домом – скворечник приколачивать. Я еще посмеялась: кошки же, говорю, какая полоумная птица в этот скворечник сунется? А он мне...

– Да, дела, – Витёк утерся полотенцем, накинул поверх тельника куртку от пятнистого комбеца, сел на скамью, закурил.

Съездил, называется.

Намедни был Витёк в Выборге на свадьбе племянницы. Ангелина осталась по хозяйству, да особенно в Выборг этот не рвалась, потому как не сложилось у нее с Натахой, невесткой, Витьковой брата женой, с самого начала. Отсутствовал всего-то три дня. Ну, пять с дорогой туда-обратно. А тут – бах! Один женился. Трах! Другой помер. А еще говорят, застой в жизни.

Писателем они называли соседа, Андрея Леопольдовича, в начале нулевых переселившегося сюда с женой Татьяной Аркадьевной из города. И прозвище это появилось сразу, в первый же день знакомства, и вот как. Витёк тогда с интересом наблюдал со своей любимой скамьи, как за забором на своем участке сосед, бывший рыжий, а теперь седой, как сухие осиновые стружки, моложавый, лет неопределимых, но подвижный, как щегол, спиливает яблоньку, не выдержавшую чрезмерной дозы гербицидов. С гербицидами же произошла следующая ария. От дальних, через участок, цыган завелся у соседа борщевик. Заметьте: ни к кому не пролез, кроме Андрея Леопольдовича! И начал отвоевывать себе метр за метром. И ничто его не брало – ни соль, на марганцовка, ни соляная кислота, как пишут на дачных форумах. Тогда Андрей Леопольдович купил какой-то супер- (если верить этикетке) гербицид и обработал весь угол своего участка. Результат: яблонька погибла, декоративный мох сгнил на корню, а борщевик облизнулся и попросил добавки. Но это ладно. Короче, пилил сосед натужно, часто оставался и стоял, глотая воздух и разминая сведенные пальцы. Наконец, ножовку ожидаемо заклинило. Витёк не выдержал, пришел на помощь. Ножовка, ясен пень, оказалась неразведенной и тупой. Он сходил за своим топором, в три сочных, с хаканьем, удара срубил яблоню и, придерживая ее за ствол, аккуратно уложил на землю.

– Красиво, – сказал сосед. – Знание – это не только сила. Это еще и красота.

Он стоял, нелепо держа под мышкой ножовку, как гитару, и улыбался.

– А наблюдать красоту – это еще и удовольствие, – добавил он, а потом запоздало продолжил: – Ножовка...

– Это не ножовка, – засмеялся Витёк.

И, сам удивляясь себе, пошел объяснять городскому неумехе, как надлежит править ножовку. И начал с того, что умение разводить и править ножовку идет от нашей довоенной бедности, а правильный профессионал пилит ею, пока та пилит, а потом просто меняет на новую – экономия и сил, и времени. Потом сходил к себе в гараж, где была оборудована мастерская (у соседа, кроме молотка и клещей, ничего не было, не говоря о трехгранном напильнике), все показал на практике и вернулся на свою лавку. Сосед оказался учеником способным, а главное – усердным. Потому что провозился полдня и вышел из дому, решительно сжимая в руке ножовку, как Шварценеггер – ручной пулемет. Он начал спиливать с лежащей яблони сучья и ветви и сразу же радостно закричал:

– Фантастика! Танька! Тра-та-танька!

Из дома вышла встревоженная жена.

– Ты посмотри, какое чудо! Я бы в плотники пошел, пусть меня научат!

– Чудо, – улыбнулась жена. – Ветер холодный, смотри, не простынь.

Он еще что-то ей сказал; она вернулась в дом, а он пошел к забору.

– Виктор Николаевич, оказывается, пилить так интересно!

Витёк тоже подошел к забору, посмотрел на ножовку. Разведена она была, конечно, на троечку, но теперь все-таки пилила, а не вынимала душу.

Тут подошла жена Андрея Леопольдовича, передала ему сверток в полиэтиленовом пакете и отдельно пассатижи с напильником и правилом, а тот протянул все Витьку.

– Каждое благое дело должно быть вознаграждено, – сказал он. – И спасибо за инструмент.

В пакете лежала книжка со смешным названием «Журавлиный танец». Автор – Андрей Леопольдович Пелле, то есть, сосед, мучающийся под яблоней с тупой ножовкой.

Вот тогда-то он и стал для Витька Писателем. Не Андреем, не Андреем Леопольдовичем, не Леопольдычем, не соседом, а Писателем, то есть существом несерьезным, неопасным, непонятным и абсолютно бесполезным.

Хотя, Писателем – это из-за книжки. А вообще он был в городе учителем истории, ушел из-за плохого сердца на пенсию, потом переехал в поселок. Пенсии на жизнь не хватало. Делать что-то руками он решительно не умел. Но тут выяснилось, что в местной школе дефицит учителей; так что Андрей Леопольдович вернулся к привычному своему занятию – вот как раз Васёк, Витькин лоботряс, у него учился последний год, пятый класс, – но недолго.

Потому как Писатель вот помер. И в стороне оставаться было нельзя, ибо смерть есть штука как раз понятная и весьма серьезная и относиться к ней надо соответствующе. То есть, для начала нанести визит к соседям и выразить соболезнование. Витёк поковырялся еще какое-то время с теплицей, а потом пошел в дом, благо погода стала портиться и начал накрапывать дождь. От скуки полистал подаренную книгу. Ангелина совершала разведывательные походы от окна («Сын приехал!») к калитке («Гроб привезли!») и обратно («Натаха с бабой Варей зашли, да что-то быстро вышли»).

«Мне хочется быть маленьким ребенком⁵», – читал Витёк наугад открытую страницу.

– Тебе хочется быть маленьким ребенком? – сказал он Ангелине.

– Только не совсем маленьким, а чего?

– Ничего.

– Вить, только сильно не пей, ладно?

⁵ Здесь и далее строфа из стихотворения Андрея Караушина «Мокрый котенок» (прим. автора).

– «Милым быть и нарядным», – дальше Витёк читал вслух, – «Плакать, если мне больно, смеяться, когда мама рядом». Ладно тебе.

– Не ладно. Люди культурные... А тебя, как выпьешь, в Донбасс тянет. Так годится? – Ангелина набросила на голову, стоя у большого трельяжного зеркала, темный, под стать моменту, платок. Очень уж соблазнительно платок облек ее голову, плечи и прочие приятные округлости.

– Годидзе, – Витёк незаметно, с книжкой в руках, подобрался ближе.

Потом сделал попытку вдумчивого изучения округлостей и получил по рукам.

– Рогов, мы к покойнику, ты вообще с головой дружишь, нет?

– Ты плачешь, если тебе больно? – не обиделся Витёк. – Иногда. А ты смеешься, когда мама рядом? – отпарировала Ангелина.

– Когда твоя мама рядом, я просто ржу, – Витёк захлопнул книжку, отложил ее в сторону и поднялся. – Давай, пошли.

У калитки писателя толклись ребяташки из соседних домов и любопытствующие кумушки. На месте их удерживал только статус писателя – чужака, который за этот короткий срок так и не стал в поселке своим.

За соседской калиткой их встретил старый пес, по случаю события посаженный на цепь, с идиотской кличкой Эзоп. Витёк припоминал, что Писатель как-то объяснял что-то по поводу клички, что-то там насчет артиста Калягина, но из башки вылетело начисто. Помнил только, что по приезде псов, тогда еще молодых и безбашенных, было два, и второго, по кличке Чарли, Витёк случайно задавил. Сдавал задом в переулок, а балбес Чарли нашел щель под воротами и метнулся прямо под колеса. От этого у Витька к постоянному чувству непонимания всего, что делает Писатель, добавилось еще и чувство вины.

Так что вот так.

А вот крышка гроба, наклонно прислоненная к поленнице дров, бросилась в глаза, потому как это было нарушением порядка и приличий. Известно: крышка гроба должна быть у самого входа, поставленная правильно и основательно, то есть вертикально, видная издалека всем, своей основательностью смиряя каждого увидевшего ее с неумолимостью и неизбежностью случившегося.

Непорядок продолжался входной дверью, ведущей с крыльца в сени, с дырой понизу размером с кулак. Для кошки, что ли, вяло отметил Витёк. Звонка не было, пришлось стучать. Открыл сын, Игорь, анфас похожий на круглолицую мать, но профилем в горбоносого отца, прикрывший модной небритостью поспешно очерченный подбородок. Он поднял брови, молча кивнул и провел в дом, мимо кухни, где за большим тяжелым столом (кухня была большая, хоть в пинг-понг играй) неподвижно сидели вдова Татьяна Аркадьевна с рыжеволосой золовкой, а по совместительству школьной подругой по имени Ванда Леопольдовна (Витёк был знаком с ней, хотя и шапочно), и дальше, через коридор коленом в жилую часть, где тихо и неприметно ходила с тряпкой престарелая мать Татьяны Аркадьевны, Александра Павловна, смахивая несуществующую пыль. Дом был большой, начатый цыганами с размахом в период большого денежного бума, а потом проданный за долги, когда большой бум закончился для всех, а не только для цыган, со всеми своими недоделками и несуразностями. Сосед начал в доме переделку, да вот до конца так и не довел. Такая, видать, была энергетика у этого дома.

Дошли до комнаты с гробом, и тут Витёк бы присвистнул, если б не покойник. Потому что комната была здоровой, квадратов под восемьдесят, на шесть окон (шестое, правда, занавешено, наверное, выходило в кладовку, сообразил Витёк), с потолками под три пятьдесят, видать, и построенная цыганами под свои культурно-развлекательные мероприятия. А главное – здесь было немислимое количество растений в горшках, самых разных размеров и видов, совершенно Витьку не знакомых. И все они, кроме мелочевки на окнах, были собраны вокруг стола с гробом, – высокие, под потолок, с глянцевыми, резными, перистыми или пестрыми

листьями. От них светлая эта – даже в дождь – комната становилась похожа на осинник, где непременно должны быть черноголовики с крепкими и тугими до звона шляпками. Только вместо черноголовиков тут стоял гроб на столе с раздвинутой столешницей. И он вполне вписывался в это буйство зелени, как вписывается в чащу леса уставшее тянуться к небу дерево.

Постояли. Ангелина взяла под руку Витька. Он хотел шикнуть на нее, но сдержался, понял, что жена волнуется. А чего волноваться? Покойник как покойник. В добротном костюме, модной рубашке с красивым переливающимся черно-серым галстуком. Витёк еще обратил внимание на лицо – оно было ослепительно белое, словно мраморное, и вдобавок как будто подсвеченное изнутри. Витёк пригляделся – вроде грима не было.

А еще он обратил внимание на перевязанную левую кисть покойника. Но удивиться не успел, – сзади тихо кашлянула Александра Павловна. И Витёк как по команде развернул авианосец жены к выходу.

Их усадили в кухне. Витёк ждал обычной женской суматохи по накрыванию стола с ножами, вилками и тарелками, что всегда несло привкус какой-то театральщины: гости-то сюда явно не поесть пришли, и хозяевам в такую минуту всяко не до еды. Так зачем комедию ломать?

Однако сейчас все было не так, как ожидал Витёк. На стол поставили тарелку с сыром, раздражили воткнутом в сыр ножом, рядом появилось несколько мелких плоских с ягодами.

– Мороженая, с прошлого лета, – пояснила Александра Павловна. – Малина, малина тибетская, смородина, коринка... Ах, Андрей Леопольдович так любил все необычное и оригинальное.

– Ой, а это что? – подхватила тему Ванда Леопольдовна, рыжая, как борода пожарного, в модных иностранных очках.

– Малина тибетская, – пояснила Александра Павловна, – попробуй, Вандочка. Сам собирал...

Она промокнула нос платочком из рукава кофты. Вдова Татьяна Аркадьевна вышла в соседнюю комнату. Ванда Леопольдовна бросилась за ней – помогать. Они вернулись с бокалами – здоровыми, как купели для крещения младенцев. Витьку они почему-то напомнили по форме бездонные лифчики его Ангелины, но он отогнал непристойную мысль.

Последней на столе появилась бутылка домашнего вина.

– Малиновое, – сказала Татьяна Аркадьевна и открыла дверцу бара. – Есть еще сливовое, калиновое, облепиховое...

– Мам, да сядь ты, хватит, – сказал сын Игорь.

– Бар гурмана, – сказала Ванда Леопольдовна.

– И просто виноградное, – закончила Татьяна Аркадьевна. Голос ее дрогнул. – Извините, – она вышла в ванную, откуда донесся звук льющейся воды.

Вино по бокалам разлил Игорь.

– Мне чуть-чуть, – сказала Александра Павловна. – Возраст, извините, не тот.

Вернулась Татьяна Аркадьевна.

– Вы пейте, – сказала она, – а я не буду. Мне хмелеть нельзя.

– Танюш, – сказала Ванда Леопольдовна, – капельку можно: нервы поставить на место.

– Да сделаем мы все нормально, ма, не волнуйся, – сказал Игорь.

Витьку не к месту вспомнилось, как совсем недавно, только снег сошел и травка полезла, глядел он через забор, как Андрей Леопольдович выгуливает старого Эзопа. Он его спустил на руках с крыльца, а потом они пошли степенно по двору, шаг в шаг, словно караул у Мавзолея, останавливаясь у каждой травинки. Потом Эзоп поднял лапу, но не рассчитал, и лапа по мере тягучего долгого процесса поднималась все выше, пока не перевалила за спину. Тут Эзоп грохнулся оземь. Это было смешно до колик, и Витёк просто угорал с них, как от бес-

платного цирка, особенно когда Эзоп поднялся с очень сконфуженным видом, а Андрей Леопольдович поднял его на руки и внес в дом.

Витёк отогнал воспоминание о цирке с конями. Прислушался к разговору женщин.

Говорили тихо, вполголоса, как будто боялись, что их подслушают. Говорили в основном Ангелина с Александрой Павловной. Все произошло внезапно – работал в саду, все было нормально, а потом резко поплохело. «Сердце», – сказала Ангелина. «Хорошая смерть», – сказала Александра Павловна. «У него с детства было слабое сердце», – досадливо сказала Ванда Леопольдовна. «Хорошая смерть», – повторила Александра Павловна строго, как будто укоряя кого-то. Татьяна Аркадьевна же продолжала сидеть с прямой спиной, глядя куда-то в пространство.

– А чего... это... рука перевязана? – спросил Витёк, чтобы что-то сказать.

– Рыжик... Андрей Леопольдович руку поранил болгаркой, – пояснила Татьяна Аркадьевна. – В поликлинике ему рану обработали, а я каждый день повязки меняла. Два дня осталось перевязывать...

– Тань, а сейчас-то зачем повязка? – спросила Ванда Леопольдовна.

– Ну, как без повязки? – не поняла Татьяна Аркадьевна.

– Танечка, – как ребенку объяснила Ванда Леопольдовна, – ему-то сейчас зачем повязка?

– Так ведь рана у него, – опять не поняла Татьяна Аркадьевна. – Как же не перевязать?

Ванда Леопольдовна сдалась. Игорь стал наливать всем по бокалам вино из осенних домашних творений покойного – по очереди: сначала малиновое, легкое и кислое, потом калиновое, тягучее и с тонкой горчинкой, затем черносмородиновое, терпкое и сладкое. Витёк пил вино в первый (и последний) раз в мореходке, когда ходили в Атлантику, так что просто заглатывал, каждый раз напоминая себе, что надо глотками. Кремация завтра, автобус уже заказали. А после выдачи урны (это через две примерно недели) захоронение ее, здесь же, на поселковом кладбище. «Где?» одновременно спросили Витёк с Ангелиной. Вопрос места упокоения стал в поселке важен с тех пор как администрация выделила участок под «новое» кладбище на отшибе, за давно заброшенными торфоразработками. С тех пор быть похороненным на Старом кладбище, между деревней и автозаправкой, в сосновом бору, считалось престижным и повышающим статус родственников. Ну, лохи чилийские, естественно, понял Витёк, а вслух сказал:

– На Новом? Там же болотина, ходить невозможно, не то что лежать.

– Может, с Николаем поговоришь? – сказала ему Ангелина.

Николай, давний кореш Витька по совместному бизнесу, теперь был правой рукой директора конторы по ритуальным услугам населению «Последняя обитель» и фактическим начальником, поскольку директор постоянно отсутствовал по своим депутатским делам.

– Урне все равно, – неожиданно сказала Татьяна Аркадьевна.

– Нам с тобой туда ходить, – возразила Александра Павловна.

– Посмотрим, – сказал Витёк Ангелине, но для остальных. – Колян сейчас в большие начальники взлетел, нам не чета. Ну... – он машинально потянулся к пустому бокалу. Ангелина толкнула его локтем в бок, и тут Татьяна Аркадьевна сказала:

– «Шамбалу» налейте.

– Да нет, спасибо, мы уже пойдем, – заотнекивалась Ангелина, но Игорь уже поставил на стол пузатую бутылку темного стекла.

– Попробуйте, попробуйте, Андрей Леопольдович очень гордился этим купажем, – сказала Александра Павловна. – Перепробовал разные сочетания.

Игорь разлил вино по бокалам. Странно запахло ананасом.

– А почему «Шамбала»? – спросила Ангелина.

– Вы знаете, деточка, все получилось, когда Андрей Леопольдович, уже отчаявшись, совершенно случайно добавил в купаж сок тибетской малины. Она на вкус никакая, но внесла в напиток неповторимую гармонию, вы попробуйте, попробуйте.

– Что такое «Шамбала»? – спросил Витёк, взявшись за ножку бокала.

– Это долго объяснять, – сказала Ванда Леопольдовна. – Ну, это такая древняя полумифическая страна, предположительно в Тибете. Есть версия, что Христос там бывал.

– Андрей Леопольдович очень интересовался ею, – добавила Александра Павловна, – искал в старых книгах, в интернете... Сделал много записей. У него была своя версия Шамбалы.

– Ну, – Витёк одним глотком выпил.

Вино было фруктовым, это точно, но неопределенно фруктовым. Ровная прохладная струя, без кислоты или приторности, пахнувшая ананасом. Витьку она напомнила равномерный гул хорошо отлаженного движка. Тут Ангелина еще раз толкнула его в бок, и он поднялся, только сейчас почувствовав, что вино-то – вода водой, а забористое. Только не так, как водка, – кувалдой по мозгам, а тихо, украдкой. Словно где-то внутри зажглась свеча.

– Извините, – Александра Павловна поднялась, – пойду прилягу.

Татьяна Аркадьевна ушла с ней. Игорь остался собирать со стола, провожать вышла Ванда Леопольдовна.

– Виктор Николаевич, – уже у крыльца сказала она, – будет здорово, голубчик, если вы поможете им. Они же – маленькие дети, вся семья была такая, вместе с Андреем Леопольдовичем.

И она неожиданно заплакала, некрасиво сморщив нос и губы.

Витёк обещал.

Вечером, уже в постели, Витёк прикидывал завтрашние действия. Значит, на Старое кладбище. Нет, сначала в «Обитель». Колян с утра там, если сегодня похорон не было. Сколько же, гад, запросит? Червонцем не обойдешься. Хрен бы с ним, червонцем. Витёк вообще считал, что мужик должен зарабатывать, сколько может, а тратить, сколько хочет. Главное, чтобы хотелка по росту была. И тут Витёк сообразил.

Уровень.

Ну конечно!

Лазерный уровень.

Лет пять-шесть назад Витёк подрабатывал на участке у Аиста, то есть, главы администрации Аристова. И вот привез Аист в пароксизме гостеприимства домой японцев из города с переговоров по бизнесу в области. Витёк как раз занимался разметкой бассейна. Посмотрели товарищи японцы, как он ловит углы мотком бечевки, а уровень – пластиковой кишкой, наполненной водой, и подарили ему японский лазерный уровень, – вещь, совершенно неопределимую для тех, кто понимает. Не сравнить с китайскими игрушками. Точность – пять нулей, стреляла в трех плоскостях и еще со звуковой индикацией, так что даже слепой в тумане сможет работать. И еще это чудо измеряла что хошь, кидай свою рулетку в колодец и рыдай в голос. Просто направь ее куда надо и нажми кнопочку. Стоила она – Витёк специально узнавал – полторы тысячи ненаших рублей, а за это время дешевле не стала. Очень она помогла Витьку, когда они с Коляном на пару шабашили у дачников. Колян тогда обзавидовался Витьку и все предлагал махнуть на свою потрепанную «девятку», но

Витёк устоял. Вот теперь Коляну крыть будет нечем.

Витёк потянулся и повернулся на бок, проваливаясь в сон, напоследок пробормотав:

– «Шамбала»?

2.

Андрей Леопольдович стал идиотом в глазах Витька с тех пор, как Витёк увидел его по приезде выгуливающим Эзопа. Потому что трудно придумать что-нибудь более бессмысленное, чем выгуливание собаки. Ну, разве что кормление мух медом с ложечки. А собака – она собака и есть, зачем ее выгуливать? Ты ее кормишь, она гавкает на прохожих, – вот и весь хрен до копейки. У Витька тоже была собака, Мальва, маленькое вертлявое, как червяк на крючке, существо с глазами навывкате и суетливыми дергаными движениями. Ангелина, насмотревшись в телевизор на светскую жизнь, из набора, включающего «Феррари», пентхаус, норковое манто и собаку на руках, благоразумно выбрала собаку. И Мальва, сучка этакая, привязалась не к ней, а к Витьку, чем причинила ей немало страданий. Мальва крутилась у Витька под ногами, пряча хвост между задних лап, ложилась на спину, скулила. Витёк в ответ поднимал ее в воздух, пару раз подбрасывал на руках, а на третий просто швырял на землю с высоты своего роста. Ангелина и заступиться за собаку не могла, потому что извращенке Мальве это явно нравилось: она подползала к Витьку на брюхе и просила еще. Может быть, таким образом Витёк выражал свое отношение к пентхаузам, норковым манто и... Нет, «Феррари» Витёк уважал. Машина зае..тая.

Чудачества Андрея Леопольдовича начинались от калитки, где гостей встречал раскидистый сумах, похожий на пальму в запое. Под ним угол участка занимала тибетская малина, ниже колена, но колючая, как сволочь. За сумахом в три шпалеры хватался за проволоки виноград, который каждую зиму исправно вымерзал, и Андрей Леопольдович выхаживал чудом выжившие отросточки, окапывал, ставил какие-то ветрозащитные щиты из пленки и ходил в лес за лапником для укрытия винограда на зиму. Витёк помнил, с каким восторгом Андрей Леопольдович угощал его «первым урожаем» – горстью недозрелых гроздей, кислоющих, просто вырви глаз. Андрей Леопольдович считал, что если растение выживет в первый год-два, то потом уже вполне может расти в нашем климате. А что такое наш климат? Как его описать без матерного слова?

Через руки Андрея Леопольдовича прошли каштан съедобный – прямо аж из Франции, украинский явор, армянский чинар и какой-то совсем экзотический манчжурский орех, – с одинаковым, впрочем, для всех итогом. Но Андрей Леопольдович не унывал и на недоумение Витька только смеялся:

– Цели должны быть заоблачные, Витенька! Если они подножные, то это не цели, а календарный план работ слесаря-сантехника.

Татьяна Аркадьевна, впрочем, отстояла половину участка для грядок с травками, парничок для огурцов и теплицу для помидоров, в которой Андрей Леопольдович тут же отвоевал одну грядку под арбузы, которые выращивал вертикально, и совершенно безумный сорт сладкого фруктового томата, а тот, паразит, из рассады вымахивал выше человеческого роста, но упорно не хотел давать плоды.

Была у соседей разумная попытка посадить картошку – в итоге тоже печальная. Потому что на эту несчастную сотку картошки напал колорадский жук. Витёк с этого просто угорал: во всем поселке люди испокон сажали картоху – прадедами заведенным обычаем, и все было в порядке, слова «колорадский жук» не знали вовсе, а тут – вот он, у соседа. Он помнил Андрея Леопольдовича и Татьяну Аркадьевну в капюшонах под третьи сутки льющим дождем, собирающих в банки с керосином оранжево-черных жучков. Даже Эзоп, тогда еще не такой старый, ходил за ними по краю картофельного поля, не решаясь ступить в раскисшую от дождей землю, и гавкал особенно тоскливо, с подвывом.

Витёк, углядев это, не вытерпел и без разрешения прошел на соседский участок.

– Поздравляю, – сказал он Андрею Леопольдовичу. – Гадость эта у вас завелась да у деда Ульяна Захарыча. Больше ни у кого. А все почему? Потому что оба вы посадили какую-то гадость импортную, по почте присланную. Вот у меня, – он показал рукой, – обыкновенная картоха, и ничто ее не берет! Какой жук? Танком ее дави, а она все равно расти будет!

– Милый, до чего же скучно жить по прописи, – сказал Андрей Леопольдович, – хотя тут особенно и не поспоришь.

У самого Витька участок был справный, без городских глупостей: в ряд по большой стороне – гараж под манипулятор, мастерская, дровяной сарай и банька; легковушка «Гранд-Витара» (Витёк ласково называл ее «Витяра») стояла у крыльца, а «КамАЗ» за участком, у пожарного водоема; параллельно им – теплицы, грядки с георгинами и летняя кухня у самого дома; соток пять было отведено под картошку, а в глубине росли яблони да сливы. Ничего лишнего и все есть, так ведь?

«КамАЗ» и импортный манипулятор появились у Витька, когда они с Колькой делили «Союз», ремонтную контору, которую они на пару создали в те времена, когда непонятно было все кругом – уже не советское, но еще не капиталистическое. Контора была на базе опытно-механического завода. Завод и в прежние времена не жировал, а сейчас и вовсе тихо загибался, так что его можно было, как сомлевшего голавля, брать голыми руками. Витёк тогда только вышел по УДО и рвался стать приличным человеком, так что Колян пришелся очень даже к месту. Колян с Витьком не нагтели, а обошлись одним цехом, в котором стояли токарные, фрезерные и прочие станки. А когда по стране пошли отстрелы банкиров и шибко зарвавшихся предпринимателей, Витёк с Коляном благоразумно закончили с «Союзом» и вышли из бизнеса, поделив собственность пополам. Колян взял себе корпус цеха, который со временем втюхал другим предпринимателям, а станки распродал мелким частникам, пошедшим по их стопам. Дальше Колян занялся погребальным бизнесом, поднялся в результате до Николая Донатовича, влез в «Ауди», и завел дружбу с городским начальством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.